

**Валерий Бочков**  
**Бабье лето**

**Вадим Жук**  
**Скелет в шкафу**

**Алена Новикова**  
**Лучшие годы Алекса  
Мельникова**

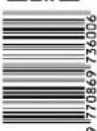
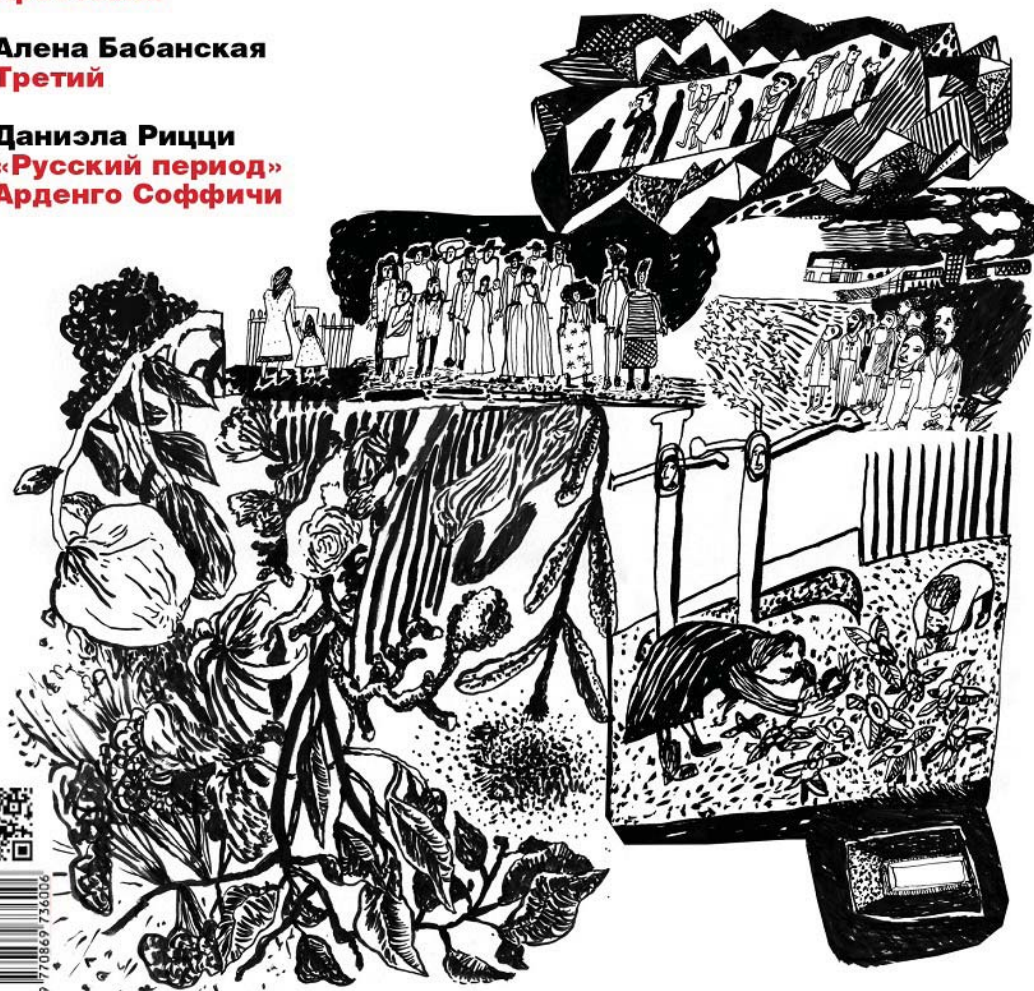
**Антон Бахарев**  
**Кроссовки**

**Алена Бабанская**  
**Третий**

**Даниэла Рицци**  
**«Русский период»  
Арденго Соффичи**

№5 2022 [№170]

# О В А Я Ю Н О С Т Ъ



ISSN 0013-788X  
9 770869 736006

Ирина Хургина  
главный редактор

Глеб Шульпяков  
заместитель главного  
редактора

Дмитрий Тонконогов  
ответственный  
секретарь  
заведующий отделом  
поэзии

Егор Ходеев  
главный  
художник

Анна Сазанова  
верстка

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
"НОВАЯ ЮНОСТЬ"  
© ЖУРНАЛ  
"НОВАЯ ЮНОСТЬ"  
[НО]

Татьяна Бобрынина  
генеральный директор

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ  
**БАБЬЕ ЛЕТО**  
Фрагмент из повести

3

ВАДИМ ЖУК  
**СКЕЛЕТ В ШКАФУ**  
Стихотворения

18

АЛЕНА НОВИКОВА  
**ЛУЧШИЕ ГОДЫ  
АЛЕКСА МЕЛЬНИКОВА**  
Рассказ

22

АЛЕНА БАБАНСКАЯ  
**ТРЕТИЙ**  
Стихотворения

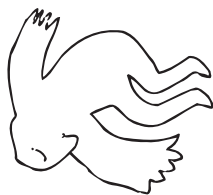
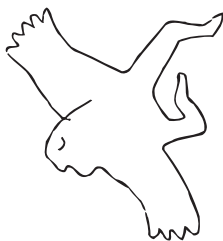
39

АНТОН БАХАРЕВ  
**КРОССОВКИ**  
Стихотворения

42

ДАНИЭЛА РИЦЦИ  
**«РУССКИЙ ПЕРИОД»  
АРДЕНГО СОФФИЧИ**  
Эссе

47



Прежние выпуски «НЮ»  
и новый номер можно  
найти на нашем сайте  
[www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)

Подписаться на полную  
электронную версию  
«Новой Юности» можно  
в интернете по адресу:  
[https://shop.eastview.com/  
results/item?SKU=12815](https://shop.eastview.com/results/item?SKU=12815)

Ценные бандероли редакция  
не принимает.

Рукописи объемом  
не более 4 авт. листов  
(170 000 знаков  
с пробелами) можно  
высылать по адресу:  
[newnost93@list.ru](mailto:newnost93@list.ru)

Присланные произведения  
не рецензируются.

*Валерий Бочков*

## БАБЬЕ ЛЕТО

*Хроника*

### ПРОЛОГ

Утром 29-го августа, во вторник, Олег Лутц проснулся женщиной. Он потянулся за телефоном, чтобы посмотреть, который час. Рука показалась ему слишком смуглой, что-то не так было с пальцами. И особенно с ногтями. Экран мобильного высветил время: 6:06.

1.

Лутц еще не выбрался из полудремы, сознание еще путалось в обрывках сновидения, но смутные детали таяли и ускользали — низкое серое небо, колючее пальто на голое тело, некто грубый и требовательный, от которого Лутц пытался отвязаться, — все быстро исчезало, оставляя лишь послевкусие чего-то стыдного и неуютного.

6:08.

Рука, сжимавшая телефон, была определенно чужой. Слишком тонкие пальцы, слишком длинные ногти. Кисть руки будто съежилась, она уменьшилась чуть ли не вдвое.

— Что за... — Лутц вытащил из-под простыни другую руку.

Опасливо покосился. Левая рука выглядела так же, как и правая, — слишком маленькая и совершенно чужая. Предчувствие чего-то жуткого и непоправимого, как тогда, на Кипре, незаметно вползло в него: тогда ему позвонили и сообщили про мать, а они с Катькой зафрахтовали катамаран — белый и нарядный, с острым треугольным парусом цвета невозможного ультрамарина, — зафрахтовали на весь день, включая закат. Собственно, закат и был целью. Капитан-грек, черный как жук, не скрываясь пялился на Катьку, а та томно выстав-

ляла себя напоказ — лениво безразличная в зеркальных очках и пестрых лоскутиках кукольного купальника. После полудня и второй бутылки шампанского лоскутики были сняты, солнце встало в зенит, выбелив небо и превратив море в неподвижную стальную пустыню. Капитан протянул Лутцу рацию, от трубки воняло одеколоном, и Лутц старался не прижимать мембрану к уху.

Молча дослушал — на том конце нажали отбой, — вернул рацию греку.

Море посерело, стало пыльным. Солнце превратилось в белую раскаленную дыру. Не ответив на вопрос Катьки и почти не касаясь пятками палубы, Лутц прокрался на корму и там затаился. Ему казалось, что так можно будет что-то исправить. Главное — не подавать виду.

В 6:10 Лутц собрался с духом и включил камеру. На экране мобильного появился серый угол потолка и кусок обоев. Когда он развернул объектив, на него смотрело чужое лицо.

Главное — не подавать виду. Бережно опустив мобильник экраном вниз на простыню, Лутц осторожно выбрался из кровати. Ему почему-то казалось, что тщательная выверенность движений, а главное, неторопливость, могут исправить происходящее. Главное — не паниковать. Никаких истерик, никаких криков. Главное — не подавать виду.

Как только ты бросился в бегство, ты превратился в жертву. Именно в этот миг. От тебя уже воняет страхом, каждый хищник на расстоянии полета стрелы чувствует твой запах и пускает слюну: дичь! Но не хищники превратили тебя в дичь — ты сам решил стать жертвой.

У отца были сухие ладони, ладные и крепкие, как дубовые доски, на которых мясники разделяют мясо. Отец ни разу не ударил его кулаком. Лутц никогда не кричал, знал, что кричать нельзя. Потом отец поднимал его с пола, доставал походную аптечку, вытирал кровавые сопли, ватным тампоном дезинфицировал ссадины. Перекись водорода жгла, но Лутц только морщился — молча. Лишь однажды он тихо спросил: зачем?

— По-другому ты не понимаешь, — так же тихо ответил отец.

Еще отец говорил, что любовь — это открытая рана. Это боль, ревность и страх потери. Тяжкая пытка, а вовсе не ласки и нежный шепот. Но прежде всего — страх. Именно он является сутью жизни.

Страх безжалостно делит всех на волков и овец. Страх запросто может превратить волка в овцу. Превращение из овцы в волка — явление крайне редкое и может классифицироваться как чудо.

## 2.

Зеркало в ванной осталось от Катьки, пожалуй, единственное, что она не смогла вывезти после развода. Огромное, в пол стены, оно было намертво замуровано в кафель. В зеркале отражалось окно с неубедительным рассветом мышинового цвета. Окно в ванной комнате всегда казалось Лутцу разумной архитектурной пикантностью: в детстве, забравшись на подоконник, он учился курить взятяжку, затягивался и выпускал дым в форточку. Отсюда было удобно наблюдать за веселыми ткачихами — во дворе стоял кирпичный барак общаги фабрики; занавески девицы не задегивали, и вся интимная сторона женского бытия разыгрывалась сразу на нескольких миниатюрных сценах, увы, в форме пантомимы.

С унитаза открывался вид на маковки Варвариного монастыря — в час заката кресты так и вспыхивали раскаленной ртутью. Если ты лежал в ванне, то церковных куполов видно уже не было, но зато открывался вид на небо. Пустое и бездонное, или с невинными облаками, или с мохнатыми тучами, но чаще все-таки синеватых тонов: в юности так просто было подрисовать к такому небу какой-нибудь неведомый Париж или сказочную Барселону, а может, даже почти невозможный Сантьяго. Или архипелаг тропических островов с кокосовыми пальмами, гавайскими напевами по полам с прибойной волной и резвыми чайками. Чайки в окне, увы, не появлялись. Изредка там мелькали вороны. Они жили в старых монастырских липах и вечерами мрачной стаей кружили над Девичьим кладбищем.

Привычная знакомость ванной немного успокоила Лутца. Грязноватый кафель, голубоватые потеки зубной пасты на раковине, дырка в плитке, где когда-то висел крючок. От дырки расходилась трещина в виде буквы Ж.

Страх контролирует тебя, или ты контролируешь страх. Лутц сжал кулаки, его мутило, как перед дракой. Он шумно вдохнул, сделал шаг и повернулся к зеркалу.

3.

Когда позвонили в дверь, Лутц все еще сидел на полу ванной комнаты. Он вздрогнул и замер. Позвонили еще раз. Звонок был по-хамски долгий. Так звонят менты и водопроводчики. Лутц на ходу натянул махровый халат, на цыпочках подошел к двери. Звонок прогремел снова.

— Кто там? — Голос получился испуганным.

— Лутц тут проживает? — Мужской голос грубо отозвался с лестничной клетки. — Олег Дмитриевич?

— Нет... Вернее, да. Но он в отъезде...

— В каком еще отъезде?

— По личным... по семейным... В Караганде. — Лутц ляпнул первое, что пришло в голову.

— В какой, к херам, Караганде?

Лутц растерялся, о Караганде он не знал ничего.

— Открывайте немедленно! Со мной участковый, мы можем применить меры...

За дверью к первому голосу добавился второй, что-то буркнул матерной скороговоркой. Лутц вытер вспотевшие ладони о халат, клацнул замком и, не снимая цепочки, приоткрыл дверь.

Двое: мент с хугровским шевроном и военный офицер. Военный — капитан — был в пехотной полевой форме с маскировочным узором болотной расцветки. На багровом лице сидели кокетливые очки в золотой оправе — тонкой и явно женской. Мясистой пятерней капитан прижимал к груди папку школьного фасона из рыжей клеенки.

— Вы жена? — спросил военный почти вежливо.

Из подъезда тянуло сырой плесенью и прокисшими окурками.

— Сестра... — выдавил Лутц.

Военный рассеянно поправил очки указательным пальцем.

— Тоже сойдет, — ментдохнул перегаром, — нам-то чё... Пусть, вона, подпишет. Сестра-то родная?

Лутц смиренно кивнул.

— Ну если родная... — Пехотный капитан просунул листок и ручку. — Там галочку я поставил... Там — посередке...

Лутц взял замызганный лист писчей бумаги с отпечатанными фамилиями. Нашел свою. Накарябал рядом какую-то загогулину.

— Вы теперь уведомяны, — военный спрятал лист в папку, — и несете всю полноту ответственности за уклонение и невыполнение в соответствии с законом от пятого августа...

— Каким законом? — проблеял Лутц. — Какое уклонение?

— Вот тут все написано. — Офицер быстро просунул в дверную щель пальцы, сжимавшие серую открытку. — Повестка.

Военный произнес это слово, а Лутц одновременно прочитал его на картонке. Слово было набрано жирной «гельветикой». Глаз выхватил из текста и слова помельче: «с целью переподготовки». Лутц не успел взять открытку. Вместо этого он совершенно неожиданно для самого себя резко толкнул дверь. Пальцы капитана тихо хрустнули. Как куриные косточки. Открытка упала на коврик прихожей. Одновременно подъезд взорвался криком. Акустика лестничных пролетов умножила звук, эхо вернулось сверху и снизу — Лутц жил на шестом этаже двенадцатиэтажной башни — можно было подумать, что в подъезде забивают какое-то крупное и сильное млекопитающее.

#### 4.

Лутц захлопнул дверь, стремительно повернул замок. И еще раз. Клацнул задвижкой. Бессильно сполз по стене на пол. Будут стрелять сквозь дверь, подумал. Сволочи. Озноб, жестокий колотун, тряс тело. С лестничной клетки продолжали доноситься крики, но уже без прежней страсти. Пинали сапогами в дверь, капитан грозил трибуналом, мент невнятно матерился. Однако, стрелять не стали.

— Сволочи... — Рукавом халата Лутц вытер пот с лица, дотянулся и взял повестку.

Призывной пункт находился по адресу: 2-я Шарикоподшипниковская улица, дом 7, корпус Б. Сложив картонку, порвал пополам, потом еще раз и еще. Чтобы унять дрожь, сцепил пальцы замком, сжал до боли. Он помнил тот адрес, помнил и тот дом — здание тюремного типа из фабричного кирпича. В последний год школы их, всех мальчишек класса, привезли туда на медкомиссию. В пустом зале на втором этаже их заставили раздеться догола. Построили в линейку у стены.



В дальнем конце зала стоял длинный стол, по бокам сидели две женщины с одинаково брезгливыми лицами продавщиц из рыбной секции. Между ними возвышался плотный офицер, перепоясанный ремнями португепи. Перед военным высокой стопкой лежали картонные папки. Офицер брал верхнюю, раскрывал и громким гортанным голосом выкрикивал фамилию. Мальчик подходил. Одна из теток требовала убрать руки с гениталий, вторая грубо шутила. Военный громко хмыкал. Голому мальчику приказывали встать на цыпочки и вытянуть вверх руки, потом присесть на корточки. В конце он должен был повернуться спиной, наклониться и зачем-то руками раздвинуть ягодицы. Ничего более унижительного Лутц прилюдно не проделывал ни до, ни после.

5.

Из спальни донеслось треньканье телефона. Лутц с трудом поднялся, держась за стену, побрел на звук. Звонили с работы — Бохачек из отдела кадров. Отвечать Лутц не стал. Он вернулся в ванную. Чуть помедлив, снял халат и повернулся к зеркалу.

Он разглядывал отражение. Так — с немым ужасом — рассматривают жертву автокатастрофы или распластанное на асфальте тело бедолаги, выпавшего из окна. Очевидная абсурдность, невозможность впихнуть реальность в мозг, в сознание: не то что понять, как в такое поверить? Что это? Как? Почему?

Шок проходил, на смену безвольному ужасу пришла злость. Девица в зеркале, по-цыгански смуглая, с ладной фигурой цирковой прыгуньи, мускулистая и компактная, с парой крепких грудей и сильными икрами, разглядывала его с откровенной ненавистью. Глаза, карие до черноты, были глазами сумасшедшей. Лутц почти физически ощущал, как наливается жаркой яростью, звериной, буйной и бесконтрольной. Он сжал кулаки и сделал шаг к зеркалу.

— Это мое... — прошипел Лутц. — Убью, сука!

Он резко ударил. Метил в лицо. Зеркало треснуло — звонкая трель диагональю перечеркнула стекло из угла в угол.

— Убью!

Лутц продолжал бить, он пинал зеркало ногами, локтем сшиб полку над умывальником. Весело на кафель посыпались склянки,

щетки и прочая туалетная дребедень. Он бил и выкрикивал ругательства, рычал и снова бил. Бил до изнеможения, боли он уже не чувствовал. По рукам лилась кровь, брызги стекали по стенам, яркими кляксами краснели на полу. Зеркало, все в трещинах, тоже было заляпано кровью и уже почти ничего не отражало.

Запиликал мобильник, и почти тут же кто-то позвонил в дверь. Лутц застыл. В дверь звонили и стучали кулаком. Телефон наконец заткнулся, но сразу начал трезвонить опять. В дверь уже колодили ногами. Лутц нашел мобильник в спальне, оба раза звонили с незнакомого номера. Был еще текст от отца и два пропущенных звонка с работы. С лестничной клетки доносились голоса, потом приехал лифт, кто-то напоследок пнул в дверь и все стихло.

На антресолях осталась коробка с Катькиным барахлом. Летние вещи, которые она не успела выкинуть. Жирным фломастером на картонке было написано «хлам». Лутц с треском сорвал липкую ленту, вывалил вещи на пол. От тряпок пахло кремом для загара и Катькиной парфюмерией.

Брезгливыми пальцами, точно перебирая мусор, Лутц вытягивал из кучи очередную пеструю тряпицу, разглядывал ее и отбрасывал в сторону. К цветастым сарафанам и гавайским платьям на бретельках он явно был не готов морально. Выбор остановил на бриджах цвета хаки, который Катька называла почему-то «сафари», и на линялой джинсовой рубашке свободного покроя с медными пуговицами и парой карманов на груди. Розовые полукеды пришлись почти впору.

6.

Солнце садилось, и двор наполнялся сумраком. Пахло концом лета, жухлым тополиным листом, теплой городской пылью. На кирпичной стене общежития белела недавно замазанная надпись. Асфальт был заляпан белилами. Надпись появлялась каждую неделю — каждую неделю ее снова закрашивали. Лутц придержал железную дверь, выскользнул из подъезда. Посередине двора, заехав передними колесами на вытопанную клумбу, стоял служебный автобус с зашторенными окнами и серой полосой вдоль борта.

На убогой детской площадке — ржавый остов качелей, песочница, фонарный столб — лениво возились солдаты. Из железных трубок и палок они уже собрали каркас то ли шатра, то ли большой палатки. Посередине, прямо в песочнице, стоял узкий колченогий стол, накрытый кумачовой тряпкой.

Дверь третьего подъезда распахнулась, оттуда появилась непомерно длинноногая девица на шпильках и в куцем платье, антрацитовом со змеиной блестяшкой. Девица в нерешительности остановилась, потом вдруг согнулась — будто сломалась пополам. Ее громко вырвало жидкой гадостью, темной, коричневой, похожей на старую кровь.

Окна второго этажа над подъездом были настежь распахнуты — все три окна. Комнаты были налиты густой чернотой, там угадывалось смутное безмолвное движение, какая-то глухая возня. Через арку во двор вкатила черная «чайка», из нее выкарабкался крупный полковник с аксельбантами, следом вылез поп в рясе. Полковник вытер лицо рукой и закурил, поп раскрыл багажник, вытащил оттуда шляпную коробку. Девица пошатываясь наблюдала за приехавшими. Поп достал из коробки предмет, похожий на золотое ведро. Аккуратно надел ведро на голову.

Дверь подъезда раскрылась. Из чернильной темноты выплыла крышка гроба. Ее на вытянутых руках нес над головой сухой мужичок в мятом костюме. Лутц узнал местного электрика то ли Леню, то ли Лешу. Девица неуверенно посторонилась, пропуская монстра. Потом согнулась, и ее снова вырвало.

7.

Лутц вышел из арки на проспект. Быстро пошел в сторону Сухаревки. Прохожих было мало. Дома на той стороне, большие и грязные, со слепыми от пыли окнами, казались необитаемыми. У входа в булочную, прямо на тротуаре, стоял милицейский фургон. Прохожие огибали фургон, обходили торопливо и не оглядываясь. Соседний магазин электротоваров, закрытый неделю назад, теперь был заколочен листами фанеры. На остановке пара одинаково мелких старух в мышинного цвета дождевиках ждала автобус.

Раздался крик, Лутц обернулся. Из дверей булочной с грохотом вывалилось несколько человек. Рослый парень в белой футболке пытался вырваться, трое ментов висли на нем, один пытался душиить сзади. Парня повалили, начали бить ногами. Он по-боксерски закрывал голову и лицо руками. Старушки осторожно подошли поближе и заинтересованно наблюдали за происходящим. Другие прохожие отворачивались и прибавляли шаг. Избиение происходило молча. Теперь парня дубасили резиновыми палками.

Автобус подошел к остановке, двери открылись. Старушки, суетясь, засеменили к автобусу. Водитель захлопнул дверь прямо перед ними и уехал.

Пиццерия на углу тоже закрылась. Большие окна на первом этаже, где раньше можно было видеть посетителей, официантов и часть кухни с печью, выложенной диким камнем, словно в какой-то средневековой харчевне, эти витринные окна были теперь покрашены побелкой. На месте вывески — итальянский повар, жонглирующий помидорами, — висел флаг. Флаг болтался и на соседнем здании, и на следующем. Откуда-то долетел церковный перезвон, едва слышно, точно кто-то щедрой рукой рассыпал мелочь. Сквозь веселое дзиньканье пробрался басовый набат, тяжелый и мрачный, как похоронный колокол. Звук неторопливо плыл над городом. Лутц сбавил шаг, задрал голову, прислушиваясь. Как пульс, подумал он, пульс гигантского зверя.

## 8.

Сказать, что отец Лутца жил на Сретенке, было бы неверно, поскольку он не жил, а умирал. Диагноз поставили в марте, жизни пообещали еще месяцев шесть, плюс-минус, — сказал доктор, роясь в бумагах. Тогда Лутц-старший дал ключ сыну. Не хочу тут лежать и тухнуть, ухмыльнулся.

Дом, ветхий и древний, каким-то чудом уцелел в одном из сретенских закоулков. Перед единственным подъездом кривлялись низкорослые яблоньки. Где-то жарили рыбу. Косая дверь, утратившая форму из-за дюжины слоев краски — последний был коричневым. Мраморные ступеньки, похожие на пыльные обмылки; липкие, будто потные, перила. Лутц тут вырос и помнил наизусть

каждый изгиб дряхлого особняка. Поднявшись на третий этаж, он замер с ключом перед дверью. Потянулся к звонку, но тоже передумал. Негромко постучал.

Пустота внутри квартиры зашуршала, зашаркала — долго и мучительно зашла в кашле. Наконец дверь открылась. Лутц знал, что отец плох, но тут оказалось что-то другое.

Отец, не взглянув, развернулся и пошаркал в комнату.

Даже не худоба, не папиросная бумажность кожи, не скрюченность бессильного тела — нет, Лутца ошарашило почти физическое присутствие некой беспощадной и угрюмой силы, мощной, как ураган, и беззвучной, как полет птицы. Этой гадостью, тяжелой и липкой, было заполнено все пространство прихожей до самого потолка.

В комнате оказалось еще хуже. Сквозь полумрак Лутц узнавал постаревшую мебель, плешивый ковер на полу, рыжие абажурчики в мушиных крапинках, мертвые часы в футляре из мореного дуба. В детстве они походили на королевский замок, сейчас напоминали поставленный на попа рыцарский гроб.

Черный лак пианино с выводком фарфоровых скользких уродцев, отвратительные кружевные салфетки под хрустальными вазами, обрамленные фотографии молодых родителей — те даже не походили на настоящих живых людей. Его собственные фотографии в виде ребенка-школьника, тоже, скорее картонный муляж, чем портрет живого мальчика. Вскрытый склеп. Разрытая могила.

— Какая все-таки нелепость... — пробормотал Лутц.

На круглом столе под пыльной люстрой стояла шкатулка со стеклянной крышкой, внутри лежали ракушки, которые он собирал вместе с матерью на диком пляже под Ялтой. Он пытался вспомнить название рыбацкой деревни на обрывистом берегу. Волны выбросили мертвого дельфина, вечером море плескалось шепотом, качало ленивые шлюпки. Мокрые цепи ворчали у пирса, большая луна жутковато таращилась, липла к полированным смоляным волнам и катилась, катилась...

Отец невесомо опустился на диван, там из вороха подушек, пледов и стеганых одеял отец свил свое смертное логово. Лутц подошел, остановился в трех шагах.

— Ближе, — буркнул отец. — Не заразное... это.

Лутц покорно сделал шаг. Он старался не вдыхать, дышал мелко и опасно, теплый воздух казался тяжелым и шершавым — почти осязаемым. Воздух был наполнен смертью. Отец, откинув голову и страдальчески приоткрыв рот, вдруг стал фрагментом какой-то картины — точно, Эль-Греко, — даже чернильный колорит тот же, портрет какого-то мученика или святого, Лутц пытался вспомнить имя, но название ускользало: картина — музей, конечно, Прадо, конечно, Испания — стояла перед глазами, мученик по традиции церковных канонов демонстрировал, держа в руках, инструменты своей пытки: да, то ли крючья, то ли щипцы для выдирания ногтей, как святой Себастьян на любой картине неумолимо щетинится арбалетными стрелами. Святой Януарий? Лоренцо-мученик?

Отец мрачно разглядывал Лутца.

— Не знаю даже, как объяснить... — начал сын. — Утром, сегодня утром...

Старик замотал головой, будто голос сына причинял ему физическую боль. Тот замолчал. Отец что-то буркнул.

— Что?

Лутц переспросил и тут же осекся: экран телевизора, что стоял в углу, был разбит вдребезги. Из экрана торчал кухонный молоток, какими хозяйки отбивают свиные котлеты.

— Я всегда знал, что ты... — повторил отец громче.

— Что?

— Еще в детстве. Думал, сумею сделать из тебя... Перековать. Исправить. Ты же с самого рождения, с самых первых дней...

— Что? Что?

— Это все твоя мать! Бабье проклятое! Если б не Елена, не ее воркованье... — отец поперхнулся, — ее миндальничанье...

Он кашлянул, словно подавился. Пытаясь ртом схватить воздух, вытянул шею. Куриная кожа, белая вареная птица. Отец зашелся в кашле. Он не мог вдохнуть, раскрывал рот и снова кашлял. Это напоминало пытку.

Сдохни, Лутц подумал и тут же испугался, что именно это и произойдет прямо сейчас. На его глазах умрет отец. Его отец.

Лутц кинулся на кухню. Сшибая невытую посуду, он открыл кран, наполнил водой кружку. Бегом вернулся в комнату. Держа голову за затылок, пытался напоить отца. Ладонью ощутил холод

кожи, тяжесть головы — как мраморный шар, господи, как мертвый каменный шар.

9.

Кашель стих, сошел на нет — будто до конца раскрутилась пружина механического завода. На улице, совсем рядом, завывла сирена. К ней присоединилась другая — тише, издалека.

— Пожарная?

Лутц встал с колен, подошел к окну и отодвинул штору.

— Темень... Ничего не видно, — зачем-то прокомментировал он. — Темно.

С улицы донесся треск. Стреляли из автомата. Потом что-то грохнуло, да так, что пол подпрыгнуло.

— На бульварах, — сипло проговорил отец. — У Чистопрудной рвануло.

К автоматным очередям добавилась пистолетная пальба — сухие и несерьезные выстрелы, вроде детских хлопушек. Лутц достал телефон, сигнала не было. Громыкнул еще взрыв, но слабей и подальше. Сирены теперь были хором.

— Что с сигналом? — Лутц повернулся. — Где усилитель? Ну, коробка эта?

Отец кивнул в сторону убитого телевизора.

— Где? — Лутц тыкал пальцем в телефон. — Где?

— Выкинул. Вырвал с потрохами и выкинул, — зло прохрипел отец. — Ке..ням!

Снаружи, перекрывая сирены и пальбу, кто-то закричал. Низко, страшно и протяжно. Внезапно крик оборвался.

— На столе, — проговорил отец, — в кабинете, на моем столе, лекарства. Там...

Лутц вышел в темный коридор, нащупал дверь. Открыл. В сумрачный кабинет пробивался свет уличного фонаря, знакомые предметы угадывались сами. Пахло мастикой, старым деревом, ветхой бумагой — так пахнет в антикварных лавках. К запаху старья примешивался какой-то посторонний и неуместный, почти радостный аромат. Что это, зачем, откуда? Будто с мороза принесли свежую новогоднюю елку, еще не размотали бечевку, еще на игол-

ках не растаяли снежинки, но праздничный дух уже проник во все комнаты.

Лутц наощупь пробрался к письменному столу. Под ногами хрустело тонкое стекло. Вытащил телефон, включил фонарик. Паркетный пол был усеян пустыми ампулами. Яркий луч вырезал из темноты плоский кусок шкафа с золотыми корешками книг, угол иконы, бронзовый письменный прибор. Луч скользнул ниже — на полу, рядом со столом, стоял гроб. Светлый, из свежих досок, он напоминал легкую лодку-плоскодонку. На дне гроба лежали еловые лапы. Лутцу почудилось, что пол вдруг стал зыбким и начал крениться, неумолимо уплывать куда-то вбок.

Вернулся в комнату. Отец лежал, запрокинув голову и выставив острый кадык. Глаза удивленно пялились в потолок. Лутц остановился в дверях, он боялся подойти ближе — смесь ужаса, растерянности и какого-то мрачного злорадства, почти радости, тошнотворной волной поднималась из желудка. Старик не шевелился. Рука, мертвая и тощая, цвета сырой побелки, свисала с дивана, тонкими пальцами касаясь ковра. Ворс ковра давно вытерся, а раньше там среди замысловатых узоров и восточных гирлянд, можно было отыскать пару рогатых страшилищ, исполнявших боевой танец.

— Нашел? — не поворачивая головы, тихо спросил отец.

Лутц беспомощно поднял руку с пустой коробкой.

— Кончились... — удалось выдавить ему. — Пусто.

— Ни одной ампулы?

— Нет.

— Ни одной?

Лутц не ответил. Стрельба на улице утихла, где-то вдали все еще выли сирены, но и эти звуки таяли и сливались с утробным гулом города.

— У кинотеатра аптека, в подвальчике — помнишь? Дежурная. Перешел через дорогу, и там.

Отец говорил быстро, заискивающе, почти ласково. Никогда так не говорил с ним. Аптека, вроде там, неоновая вывеска с крестом, 24 часа; а вот кинотеатр тот закрыли лет двадцать назад, Лутц промолчал.

— Одну упаковку. Одну. Это ж пять минут — туда и обратно.

— Хорошо. Давай рецепт.

— Нет рецепта. Мне Ольга Марковна доставала. По блату.



— По блату? — переспросил Лутц зло. — Что это вообще значит: по блату? Ольга Марковна... Это же не аскорбинка, не пилюли от запора! Морфий! Кто мне продаст без рецепта морфий...

— Погоди...

— ...Морфий среди ночи! Без рецепта!

— Погоди!

— Звони своей Марковне, Ольге! Звони-звони, я съезжу! По блату!

— Нету ее. Под Питером она. За Линией, в Парголово, что ли...  
Продала все и свалила.

## 10.

Город, как пишут в скверных романах, был настороженно тих. Лутц старался держаться подальше от фонарей. Перебегая через пустынную улицу, он успел заметить, что перекресток Сретенки с кольцом перегораживали танки. До Садового было метров семьсот, но Лутц на всякий случай нырнул в тень и застыл, прижавшись к стене дома. Замри, учил отец, жертву всегда выдает желание бежать.

Небо на северо-западе было темно-малиновым, почти рубиновым. Там что-то пульсировало, набухало, как нарыв. Такое зарево вставало над городом во время ночных парадов, но все парады проходили весной и осенью, а сейчас был еще август.

На месте бывшего кинотеатра — Лутцу даже припомнился индийский фильм, душный зал с тесными креслами, жаркая ладошка напрочь безымянной девочки из параллельного класса, — на месте кинотеатра давным-давно обосновался супермаркет, сперва австрийский, потом наш. В апреле закрыли и его.

А вот аптека оказалась бессмертной. Железная дверь в стене, кнопка звонка, мутная вывеска подмаргивала выше — в тех же скверных романах такие двери играют роль портала, через который герой попадает в прошлое или будущее. Иллюзии чудесного побега подобного рода у Лутца исчезли еще в детстве. К водосточной трубе на уровне второго этажа крепилась камера. Лутц поднял голову и придал лицу невинное выражение. Вдавил кнопку звонка. Дверной замок клацнул, и дверь приоткрылась.

Крутая лестница вниз была выложена плиточником-мизантропом отменно скользким кафелем. Такой же плиткой — черной —

сияли пол подвала и все четыре стены. Потолок оставили в покое и побелили. В углу висела еще одна камера наблюдения. По стенам пестрели рекламные плакаты лекарств для глаз, ушей и других органов, но ощущение пребывания в сортире ресторана средней руки все равно оставалось. Привычного магазинного прилавка не было. Было окно в стене, забранное решеткой. В амбразуре маячил белый халат и учительские очки.

Лутц согнулся. Он показал пустую коробку из-под морфия. Начал говорить — кротко и печально, — смиренный тон и мягкий голос нравились ему самому, но все равно Лутца не оставляло чувство, что он все врет. И про отца, и про смерть, и про боль.

Похоже, провизорша тоже не верила. У нее не было губ — она, слушая молча, методично их жевала; хилые волосы мышинового цвета были крепко стянуты в тугую фигу на затылке, из-за этого лицо, казалось, принадлежит карлице с парой капель японской крови. Восточную экзотичность портили очки — круглая черная оправка, толстые линзы, вкуче с докторским халатом безукоризненной белизны, невольно будили в памяти кадры кинохроники из медицинских лагерей на оккупированных территориях.

— Вы дочь? — наконец спросила провизорша.

Лутц смиренно кивнул.

— Предъявите карту.

Лутц протянул карту в окошко.

— Это карта отца, — с тихой ненавистью произнесла провизорша. — Вашу карту!

Лутц начал врать — торопливо, беспомощно, безнадежно. Провизорша не перебивала, очевидно упиваясь процессом унижения. Внезапно отрезала:

— Ясно. Ждите тут!

И захлопнула окошко фанерной створкой. На краске, не белой, а с каким-то грязноватым оттенком, который при желании можно назвать «цветом слоновой кости», кто-то нацарапал слово «сука». Слово замазали, но оно все равно проступало сквозь белила.



*Ваграм #гк*

## СКЕЛЕТ В ШКАФУ

•••

Ой, погибну я не за рабочих,  
За тебя я погибну, мой друг,  
И синички мне выключают очи,  
Потому что орлам недосуг.  
Не склонятся ко мне вороны,  
Лошадиная жалость, конец  
Мой увидят машины стальные  
С миллионами конских сердец.  
Пролетят равнодушно шоферы  
На своих городских скоростях,  
Но меня понесут волонтеры —  
Плоть мою на некрепких костях.  
О, мосты превосходной столицы,  
О, рыдания северных рыб,  
И озябшие серые птицы,  
И открытые настезь дворы.  
И ни Феникса нет, ни Финиста,  
Только свет на втором этаже  
Да минувших годов букинисты...  
Впрочем, их не осталось уже.

### ПРИГЛАШЕНИЕ НА СТАНСЫ

Проходит организм поношенный,  
На всех ступеньках отдыхая.  
Еще реакция хорошая,  
Уже эрекция плохая.  
Уже мне кажутся начальники

Как бы явлением природы,  
У бабы на цветастом чайнике  
Отходят правильные воды.  
Наивными постмодернистами  
Путь замощен на много лье,  
Идут бои между баристами  
И удалыми сомелье.  
Проходит организм измученный  
Коверной кошке за кормами;  
Еще персты его не скрючены,  
Но правая нога хромает.  
Над нашей школой дроны кружатся,  
Разбрасывают горсти мелочи,  
И дети — с помповыми ружьями,  
С помпонами на шапках беличьих.  
И, медленно пройдя меж урнами,  
Ворон красивая династия  
У многолетних физкультурников  
Ворует палки скандинавские.  
Проходит организм привившийся  
Под голубую паранджою,  
Каким внезапно проявившимся  
Недугом будет поражен он?  
Проходит организм изысканный,  
Словами дивными играя,  
Меж косяками и описками,  
В дымах полунощного края.

## ПОБЕГ

И вообще бы не встречаться,  
Оставить память начеку,  
Но не надеяться на счастье,  
Что вдруг возникнет по звонку.  
В Калитино случилась пробка,  
В Сельцово поезд с жизнь длиной.  
В багажнике тряслась коробка

С поспешно купленной едой.  
Соприкоснувшись головами,  
Искрили, будто бы мотор.  
На светофорах целовались,  
Кляня очередной затор.  
Замок свернулся, как калачик.  
Открылся! Завершив побег,  
К нетопленной январской даче  
Мы шли, проваливаясь в снег.



Милым моим казалось, что мой тремор  
Возникает от прикосновения к ним,  
Когда я уйду на глубину, словно капитан Немо,  
Я не исчезну, я стану другим.  
Мои руки гладили шелковый ветер,  
Мои губы расхаживали от плеча до плеча,  
Я был любопытен, как юный сеттер,  
Неугасим и трепетен, что твоя свеча.  
Встречи были краткими, будто краткие прилагательные,  
Кольца внутри дерева не предполагали грядущего пня,  
Я так привыкал к сослагательному,  
Что повелительное пугало меня.  
Милые мне не ввали, что я единственный,  
Кинемеханик крутил кино.  
Бор был сосновым, лес был лиственным,  
Мы бывали в Нижнем и в Бородино.  
Когда я уйду в высоту, как старший лейтенант Гагарин,  
Меня встретят апостол Петр и Сергей Королев,  
На высокий борт, где каждой твари по паре,  
Я войду без пары, но с букетом синих цветов.  
Ослепленный мелькающими материками  
Впередсмотрящий не крикнет: «Земля!»,  
Мне нальют спирта, разбавленного твоими слезами,  
Крепостью тысячу градусов выше нуля.

• • •

Когда задвигалось и загремело,  
И на столе запрыгал суп в кастрюле,  
Попрыгал, а потом упал.  
Игрушки сразу лица отвернули —  
Не их это игрушечное дело.  
Тогда он в шкаф залез. Он в нем лежал и спал.  
Потом проснулся, покричал, поплакал,  
Поел размякшую картошку с пола  
И, взяв с собою синюю собаку,  
Вернулся в шкаф. Теперь его на свете нет.  
Среди истлевших пиджаков, подолов,  
Когда-нибудь найдут его скелет.  
Нашедшие могли бы засмеяться —  
Скелет в шкафу! Никто не засмеется.  
Достанут этот маленький скелет,  
Вцепившийся в бесцветную собаку  
И вынесут на страшный белый свет.

• • •

Не оттого, что жизнь прошла,  
Не оттого, что друг ушел.  
А оттого, что жизнь прошла,  
И оттого, что друг ушел.  
А улица белым-бела,  
На стенах старые картинки,  
И по невидимой пластинке  
Бежит незрячая игла.



Алена Новикова

ЛУЧШИЕ ГОДЫ  
АЛЕКСА МЕЛЬНИКОВА

Мое самое позорное воспоминание, не считая экзамена по макроэкономике — это диван в нашей старой квартире и три «Ерша» подряд. Я лежал, накрывшись твоим пальто. Я не помню, чтобы я плакал, хотя Артем говорит, именно так оно и было.

Десять лет назад Артем делал самые лучшие «Ерши» в Москве. Все дело в том, что он покупает «Смирнов». Паша и я покупаем «Царскую» — покупали, еще когда мы все втроем были студентами. На бутылке обязательно был Пётр Первый. Обычно мне хватало одного «Ерша». Паше — двух.

Голос в записи сообщает, что станция «Академическая» закрыта для входа и выхода пассажиров.

Бирка твоего пальто кололась, и я вырвал ее с нитками. Наверное, одна эта бирка стоила больше, чем моя зимняя куртка. Ты всегда говоришь, что любишь дорогие вещи.

Ты всегда говорила — мы не разговаривали с тобой три года.

— Молодой человек, вы выходите?

Я открываю глаза, вижу блестящий берет на уровне своего плеча и испытываю редкое удовлетворение человека со средним российским ростом в метр семьдесят сантиметров.

— Нет. Я не выхожу.

Ты везде приезжаешь на машине, которую отец подарил тебе на восемнадцатилетие. Это «Крайслер», и ты так и не научилась его водить. Может быть, поэтому ты никогда не приходишь вовремя.

— С прохода отойдите.

Блестящий берет толкает меня в плечо и скрывается за дверями, к которыми прислоняться запрещено, хотя иногда очень хочется. Я делаю шаг, чтобы выйти вслед за ней, и передумываю как раз вовремя, чтобы заскочить обратно в вагон. Вообще-то я еду до

«Калужской», как и всякий раз, когда автобус слишком долго не приходит.

Ты собралась, пока я был на репетиции с группой. Ты всегда продумывала такие вещи заранее. Я вернулся в тот момент, когда водитель такси помогал тебе снести по лестнице чемодан. На тебе было пальто, бирка которого на следующий день колола мне щеку.

— Привет, Алекс, — сказала ты.

Ты курила сигарету с фильтром в пятой за год попытке постепенно бросить, предательски приветливая.

Александра обманчивая.

Я выхожу на платформу «Калужской», нащупывая зажигалку в кармане. Я медлю, и в очереди у эскалатора мужчина с огромным тубусом в руках наступает мне на ногу.

Ты опаздывала на самолет до Сан-Франциско. Я хотел скорее попасть внутрь. Моя гитара была убрана в старый чехол, настолько тонкий, что от холода могли лопнуть струны.

Плакаты над эскалатором поздравляют пассажиров с Рождеством Христовым, хотя на улице начало апреля.

Ты уехала через полчаса, оставив прищемленное дверью пальто. Оно все еще висело там, когда Паша появился в прихожей с красными, блестящими от пота щеками и аптечным пакетом, набитым успокоительными таблетками и сардинами в масле. Сардины должны были следовать за «Ершами», но даже смотреть на них было тошно. Они лежали рядами, серебристые и глянцевые — кажется, открытая банка так и простояла до сентября, пока моя мать, приехав без предупреждения, не взялась размораживать холодильник.

Я смотрю себе под ноги, на едущие вперед ступени с желтой полосой. Я хочу спать. В правом кармане моего пальто лежит пачка «Парламента» с одной единственной сигаретой внутри. Сегодня с утра, как раз перед тем, как спуститься в метро, я получил апперкот от кассира в магазине напротив станции.

— Есть голубой «Парламент»?

Кассир смотрела телевизор у меня над головой. В магазинах у метро почему-то до сих пор висят телевизоры.

— За этим в Америку, — сказала она. — У нас в парламенте все нормальной ориентации.

— Это сигареты, — сказал я. — «Парламент». За сто пятьдесят два рубля.



— У нас нет «Парламента».

Она приподняла чехол на стенде с сигаретами и увеличила громкость телевизора. Мое слюноотделение активизировалось ровно настолько, чтобы его можно было назвать повышенным.

— Тогда «Мальборо». Золотые.

На экране телевизора люди выстраивались в очередь, чтобы подойти к гробу Чака Берри. Мне нужно было быть в офисе через сорок минут.

— У меня карта.

— Вы читать умеете?

Объявление над прилавком было обведено маркером неоновом желтого оттенка.

Отпуск табачной продукции производится только за наличный расчет.

В моем бумажнике не было ни одной купюры. Мелочи не было тоже, и я решил бросить курить прямо там, в сетевом супермаркете у метро «Беляево».

Мне никогда не хватает решительности. Это сказал Артем.

Я выхожу из метро и закуриваю последнюю сигарету прямо в переходе. На улице начинается дождь. Мне нужно быть в офисе через двадцать минут.

Я прикрываю голову папкой с анкетой, которую должен был сдать еще в пятницу. Левая рука остается свободной, как раз для того, чтобы поднести сигарету ко рту. Пока я затягиваюсь на ходу и дождь льется за шиворот моего японского плаща, автобус захлопывает двери и отходит от остановки.

Мне нужно быть в офисе через восемнадцать минут и тридцать четыре секунды.

Левая рука — как раз та, в которой я держу первую на сегодня и последнюю из пачки сигарету — сама тянется взлохматить мне волосы. Это моя нервная привычка.

Даже поступающий в организм никотин не убирает малоприятное ощущение легкой паники.

Табло над остановкой гарантирует пассажирам новый автобус через двадцать семь минут.

Я вызываю «Убер», дважды промахиваясь мимо приложения, и обещаю себе уволиться на этой же неделе.

У машины, которая приезжает за мной, панорамная крыша.

— Интересно, — говорю я. — Крыша — это интересно придумано.

— Крыша входит в стоимость поездки, — говорит водитель.

Я откидываюсь на сидении и смотрю на верхние этажи домов по улице Обручева. Я думаю о том, что забыл пронумеровать страницы в анкете, а еще о том, что у меня уже три месяца не было секса.

Мне нужно закрыть в бухгалтерии больничный за февраль. Я не успеваю на утреннее совещание, которое начнется через десять минут.

— Мы можем как-то объехать пробку?

— Час-пик.

Я закрываю глаза и обдумываю свои перспективы.

Иногда я жалею о том, что вообще получил должность младшего менеджера по исследованиям.

Иногда происходит с регулярностью в три-четыре дня.

Моя мать назвала совершеннейшим идиотизмом мою надежду зарабатывать деньги музыкой. Самое смешное то, что в конечном счете она оказалась права.

Или самое грустное — в зависимости от того, как на это смотреть.

Десять лет назад я действительно думал, что смогу стать Сашей Васильевым, но реальность в виде института Сорокина и квартирной платы с тех пор убедила меня в обратном.

Водитель стучит по экрану счетчика, и я открываю глаза. Десятиминутная поездка обходится мне в семьсот двадцать три рубля пятьдесят копеек.

— Это за десять минут? — говорю я. — Семьсот?

— Час-пик, — говорит водитель.

Я расплачиваюсь картой, выхожу из машины и чувствую неприятный холод, начинающийся в районе задней стороны бедра. Мои брюки мокрые до самых колен. Должно быть, панорамное окно было закрыто не до конца, и я просто не заметил, насколько мокрым было заднее сидение.

Тверская область тоже была мокрой и грязной, потому что дождь шел все три дня «Нашествия» в тот год, когда мы познакомились. Я целовал тебя под «Агату Кристи», и под «Сплин» на следующий день тоже. Через неделю должен был пройти мой вступительный экзамен. Может быть, если бы не Саша Васильев и не ты, я бы написал его лучше, и мне никогда бы не пришлось сидеть в

бухгалтерии института Сорокина, где пахнет кофе и триста шестьдесят пять дней в году отопление выкручено до упора.

— Вы больны? — спрашивает женщина, сидящая от меня через стол.

Я не помню, как ее зовут, хотя и должен, потому что пять лет назад именно она принимала меня на работу.

— Я не болен.

Ее фигура в синтетическом свитере похожа на зиккурат, каждый ярус которого обтянут кислотно-розовой тканью.

— У Вас температура? — спрашивает она. — Почему Вы не снимете пальто?

Я смотрю, как ярусы зиккурата движутся, когда она подшивает мою справку в архив.

— Мне немного, — говорю я, — немного нехорошо.

Мои ладони мокрые от пота, и я вытираю их о брюки, которые никак не могут высохнуть под пальто.

— Вы были у доктора? — спрашивает зиккурат. — Больничный лист закрыт?

— Закрыт. В феврале.

Она приоткрывает рот, стуча указательным пальцем по клавиатуре.

— Выглядите бледным. Может, это кишечный грипп?

Я вижу, как ее глаза за бифокальными стеклами изучают мои мокрые волосы.

— У меня нет, — говорю я, — кишечного гриппа. Я просто бледный.

Она смотрит в справку, которую только что проколола дыроколом сразу в двух местах.

— Знаете, Александр... Александр Витальевич, — ее палец останавливается на строке с датой моего рождения. — Пятьдесят два процента молодых людей, погибших безвременно, скончались именно от алкогольной зависимости.

Я расстегиваю воротник пальто и представляю свою безвременную кончину. Мне почему-то сложно вообразить смерть младшего менеджера института имени Питирима Сорокина трагической или по крайней мере не лишенной драматизма. Звезда рок-н-ролла должна умереть под колесами «Икаруса» или выпасть из окна девятого этажа. Мне придется довольствоваться разрывом аорты или сахарным диабетом.

Зиккурат стучит карандашом по столу, и я вспоминаю, что опаздываю на совещание уже на четырнадцать минут с четвертью.

— Я не выпиваю, — говорю я. — Только по пятницам.

— Смотрите, — говорит зиккурат. — У нас в бухгалтерии уже появились некоторые сомнения относительно вашего морального облика.

Она ставит печать и закрывает папку с архивом, движением руки приглашая меня на выход.

— Спасибо, — говорю я. — Я смотрю.

Все время, пока я иду к своему рабочему месту, надеюсь, что мокрых брюк не видно из-под пальто, мне одинаково сильно хочется умереть и закурить новую сигарету. Еще мне хочется глоток или два артемовского «Ерша».

Он не делает коктейли с тех пор, как женился и переехал в Царицыно.

Лично мне всегда казалось, что в Царицыно после восьми вечера могут выйти на улицу только люди со стальными нервами.

Хотя, может, это яйца у них стальные.

Я снимаю пальто, вешаю его на крючок и прохожу к своему столу. Мой отдел все еще на совещании — кусает ручки, лохматит волосы и вычисляет маркерами на отполированной доске, как за месяц продать среднестатистической покупательнице четыре набора восковых полосок вместо трех.

Ты говорила, что восковые полоски похожи на орудие испанской инквизиции.

Хотя, может, инквизиция была французской. Они убили Жанну д'Арк.

Я решаю, что ни на какое совещание не пойду. Если я не стану врываться в переговорную, извиняясь за опоздание и опрокидывая стулья, есть шанс, что мое отсутствие останется незамеченным.

Пока мой компьютер включается, я думаю о твоих ногах. Страницы анкеты, которую я должен был сдать еще в пятницу, слегка мятые от дождя и ветра, и я придавливаю их стационарным телефоном. Считается, что условия работы в институте Сорокина лучше средних по рынку, потому что у каждого из нас есть компьютер и личный стационарный телефон. Мой номер внутри института 14-75, и Раппопорт, мой непосредственный начальник, звонит по нему так часто, что соответствующие кнопки на его собственном

аппарате, наверное, давно стерлись до неузнаваемости. Иногда мне кажется, что он выскочит из этого аппарата, когда я собираюсь домой на тридцать минут пораньше или с рабочего компьютера захожу в ютуб. Учитывая размеры Раппопорта, это просто игра моего воображения.

Я ввожу пароль, восхищающийся своей примитивностью, и запускаю браузер.

В офисе нет никого из моего отдела, я закрываю окно, из которого дует даже в августе, и включаю компьютер.

Клавиши моей клавиатуры липкие, потому что неделю назад с похмелья пролил на них растворимый кофе с двумя ложками сахара.

Пока экран загорается, я думаю о Брендоне Ури.

Когда я учился в университете, «Panic! At The Disco» слушали даже в Нижнем Новгороде, где вообще ничего не слушают.

Брендон Ури не пьет кофе с двумя ложками сахара. У него не болит голова, и кофе не бывает таким отвратительным, чтобы можно было не класть сахар.

Мой компьютер загружается целую вечность, потому что программное обеспечение последний раз обновлялось в две тысячи пятом году.

Первый альбом Брендона Ури вышел тогда же.

Я никогда не играл на фестивале в Рединге, но мы с ним все равно можем считаться коллегами. Наша аудитория — меня, Артема и Паши — в среднем в сто раз меньше, чем у Брендона Ури. С другой стороны, я подозреваю, что он никогда не учился в университете.

На экране компьютера наконец отображается рабочий стол. Сегодня Раппопорт должен был посмотреть мой доклад об отношении граждан к законопроекту об иностранных агентах, а я до сих пор не подготовил презентацию.

В районе спины, мокрой от слишком долгого сидения в пальто, по-прежнему предательски тянет.

Я запускаю «Microsoft PowerPoint» и представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я никогда не пошел в университет.

Женщина из экономического отдела, сидящая через четыре ряда столов от меня, включает медицинскую передачу, посвященную паразитам кишечника.

Я бы каждый день спал до полудня, носил бы свою куртку «AllSaints» вместо брюк с белой рубашкой и все еще жил бы с тобой. Может быть, мы бы даже поженились.

Экран мигает, и Windows сообщает об автоматическом обновлении.

Фестиваля в Рединге в моей жизни, может, и не было бы, но мы с Пашей и Артемом вполне могли бы играть на «Нашествии».

Я сворачиваю «PowerPoint» и вбиваю имя Брендона Ури в поисковик. Он перестал красить глаза и похудел с последнего раза, как я видел его фотографии.

В параллельной жизни я бы тоже носил темные очки в помещении и наконец купил бы «Gibson Les Paul Studio», который стоит больше арендной платы, которую я вношу за месяц.

Я поднимаю голову и вижу, что вентилятор на потолке впервые за пять лет запустили.

Если бы я в самом деле стал музыкантом вместо младшего менеджера по исследованиям, ты бы никогда меня не бросила.

Я закатываю рукава рубашки и поднимаюсь повыше на стуле. Вентилятор громыхает и рубит воздух с определенной ритмичностью.

Брендон Ури улыбается мне с экрана компьютера, одетый в белый смокинг. Он никогда не плакал, лежа на диване и накрывшись твоим серым пальто, не готовил «Ерша» и не знает, что «Смирнов» нужно вливать в холодный «Туборг» и пить стоя, пока еще можешь стоять.

Я закрываю вкладку с его самодовольным лицом, и клавиша мыши трещит под моим указательным пальцем.

Самыми распространенными признаками наличия в организме кишечных паразитов являются зуд и повышенное чувство голода.

Раппопорт отправлял мне на почту материалы, которые хотел бы видеть в моей презентации, но я почему-то не могу их найти.

Курить хочется так сильно, что я выдвигаю ящик стола и тщетно осматриваю его на предмет завалившейся сигареты.

Часы на экране показывают десять часов пятьдесят пять минут. Я не могу уйти домой раньше шести.

Плохая концентрация внимания и депрессия могут быть симптомами гельминтоза.

Может быть, я болен и даже не подозреваю об этом.

Мой почтовый ящик переполнен рекламными предложениями туроператоров и доставки продуктов. Я перехожу по одной из вкладок и проверяю, можно ли заказать пачку «Мальборо» прямо к институту Сорокина.

Где-то на этаже хлопает дверь, и в коридоре раздается отчетливый голос Раппопорта. Раппопорт в иерархии института Сорокина выше меня на две ступени. В обычной жизни он ниже сантиметров на десять и тяжелее килограмм на девяносто.

Я снова открываю пустой шаблон презентации и постукиваю пальцами по краю стола. Письма от Раппопорта нет во «Входящих», и в спаме его нет тоже. Эта мысль едва ли обнадеживает, потому что в письме были статистические данные, которые в интернете не найти. Кажется, им даже была присвоена какая-то секретность, хотя, наверное, я только лщу себе этим предположением.

Я открываю первый слайд и бодро ввожу собственное имя в правый нижний угол. Спокойно, Алекс. Все под контролем.

Доктор на экране компьютера через четыре ряда от меня повествует об органах фиксации ленточных червей.

— Вы не могли бы сделать потише?

Женщина за компьютером оборачивается на мой голос. Мы встречаемся глазами, и она обиженно фыркает и подкручивает громкость динамика.

У нее прическа совсем как у тебя, с густой, падающей на глаза челкой.

Из переговорной начинают возвращаться люди, и жужжание включающихся компьютеров заглушает голос Раппопорта и передачу о паразитах.

Я в очередной раз за день запрещаю себе вспоминать тебя и открываю галерею стоковых картинок. Я работаю в институте Сорокина уже седьмой год. Что мне эта презентация.

Проходит десять минут, а может, сорок, и у моего стола наконец появляется сам Раппопорт. Он потеет, на его желтоватой от старости рубашки проступают темные пятна.

— Работаете?

Я в полной безопасности, посторонние вкладки на экране давно закрыты. Вообще-то приближение Раппопорта всегда можно предугадать по скрипу линолеума под его внушительным весом. Кроме того, я почти разобрался с этой несчастной презентацией.

«Как всегда», — вот что мне хочется сказать.

Вместо это я говорю:

— М-м...

Просто великолепно.

Раппопорт встает за моим креслом и склоняется, разглядывая экран.

— На совещании вас не было. — Я воздерживаюсь от комментариев, и он продолжает, выставив указательный палец вперед: — Это файл, который вы должны были доработать и показать мне в начале марта?

— Доработал, — говорю я. — Осталось два слайда.

Я ничего не говорю про сроки.

Раппопорт тяжело дышит над моим плечом, я чувствую запах его пота и зубной пасты.

— Давайте-ка ко мне. Нет, лучше в переговорную, пока Гусько на месте.

Гусько — начальник самого Раппопорта. Я не то чтобы жажду показывать ему презентацию, особенно учитывая, что ее содержательная ценность стремится к нулю. Я не в том положении, чтобы выбирать.

Раппопорт стоит за моей спиной, пока я ищу флешку в ящике стола и переносу на нее презентацию. Последний слайд не окончен, и дизайн оставляет желать лучшего. Закрывая вкладки, я жалею, что так и не нашел раппопортовского письма и что в свое время вообще согласился работать в институте Сорокина.

Нервозность говорит о систематическом заражении организма гельминтами.

Я даю себе обещание сдать анализы при первой же возможности, пока иду за Раппопортом в переговорную.

Лопаста вентилятора начинают вращаться в обратную сторону, когда он закрывает за мной дверь.

У окна спиной ко мне стоит человек в сером костюме. У него рост десятилетнего ребенка и намечающийся горб.

— Здравствуйте, — говорю я.

Это должен быть Гусько, стоящий на предпоследней ступени карьерной лестнице института. Раньше я видел его только на вечеринке сотрудников прошлой зимой, когда был слишком пьяным, чтобы устанавливать полезные знакомства.



Может быть, именно поэтому за шесть лет я так и не удостоился повышения.

Не то чтобы меня так это волновало. Я ведь никогда не хотел заниматься социологическими исследованиями.

Гусько оборачивается и кивает. Он похож на полковника милиции из телесериала, популярного во времена моей юности. Я разглядываю его лицо и неожиданно вспоминаю нашу последнюю встречу.

Лучше бы я этого не делал, конечно.

Тогда в декабре на вечеринку он пришел с женой, которая едва доставала ему до плеча, и мне хватило ума обсудить это с системным администратором. Кажется, я ужасно шутил про «Властелина колец» и даже назвал их карликами. Я только потом увидел, что Гусько стоял в двух шагах от меня.

Сейчас по выражению его лица очевидно, что он меня помнит тоже.

— Это вы, — говорит он. — Главный поклонник Толкина во всем институте.

Он улыбается, но мне от этого становится только хуже. Я вставляю флешку в системный блок и дважды промахиваюсь мимо гнезда. С этого места лица Гусько мне не видно, но я спиной чувствую его взгляд.

— Мы как раз только что это обсуждали, — говорит Раппопорт. — Реестр иностранных агентов.

— Очень интересно.

Я открываю презентацию и встаю поровнее.

— На полный экран, пожалуйста, — говорит Гусько. — Алексей?

— Александр. Александр Витальевич.

Они с Раппопортом обмениваются взглядами.

— Очень хорошо.

Его усы желтые от табака. Я бы мог предложить ему сигарету, выйти с ним вместе на ступени института и не возвращаться в переговорную, где Раппопорт по-собачьи дышит и хрюкает и где моя бездарная презентация открыта на весь экран.

— Начинать, пожалуйста, Александр Витальевич.

Я не люблю вспоминать о том, что было дальше. Я вышел из переговорной через двадцать минут — максимум полчаса, но чувствовал себя постаревшим лет на десять.

— Где данные «Левада-центра»? — спрашивал Раппопорт. — Я отправлял их вам на почту.

Гусько улыбался, глядя на экран.

— Это стоковое изображение?

Мне хотелось исчезнуть, не оставив никаких следов своего существования в институте Сорокина.

— Это граждане, выступающие против законопроекта.

Я почему-то даже говорил чужим голосом — наверное, слишком долго сидел у окна, которые здесь даже зимой открывают настежь. Мне вообще было не слишком-то уютно с Гусько, стоявшим перед самым моим носом, и с этой позорной презентацией на проекторе.

— Иллюстративный материал? Занятно.

Лучше бы он перестал улыбаться.

— Это последний раз, когда вы получаете такой проект, — сказал Раппопорт, когда за Гусько наконец закрылась дверь. — Может быть, это вообще ваш последний проект в институте Сорокина.

Я был бы только рад услышать эти слова, если бы не необходимость вносить квартирную плату.

— Я исправлю, — говорю я. — К концу недели.

— Это в ваших интересах, — говорит Раппопорт.

Он уходит, оставив меня наедине с ключами от переговорной и самодеструктивными мыслями. Я обдумываю возможность повеситься на дверной ручке, пока вожусь с замком. На мне нет галстука, и ремня нет тоже.

Я возвращаюсь к своему компьютеру и сижу, уставившись в экран. Мне по-прежнему ужасно хочется курить.

Отпуск табачной продукции производится только за наличный расчет.

Жаль, что у меня нет с собой наличных. По правде говоря, на карте денег у меня тоже не слишком много.

Я разглядываю заставку рабочего стола и обдумываю, что же такого я сделал в жизни, почему в конечном итоге оказался младшим менеджером по исследованиям в институте Сорокина.

Может быть, мне стоило лучше учиться в школе.

Или сдержать обещание, данное Паше в пятнадцать лет, и никогда не заниматься ничем, кроме музыки.

Это была бы плохая идея. Я бы и года не протянул, учитывая, сколько сейчас зарабатывают музыканты.

От мысли о том, что я оказался здесь по собственной воле, мне делается совсем уж плохо. Я швыряю флешку с презентацией в ящик стола и встаю с места. Займусь этим как-нибудь потом, когда буду чувствовать себя лучше и когда щелканье клавиш прекратит действовать мне на нервы.

У лифта я встречаю своего знакомого системного администратора. Он одет в свитер с горлом, держит в руке пачку сигарет и очень рад меня видеть.

— По одной? — говорит он.

У него «Уинстон» с ментолом, которые я в обычной ситуации даже за деньги курить не стал бы, но сейчас мне не из чего выбирать.

На улице идет мелкий дождь, и без пальто довольно прохладно, но у меня нет никакого желания за ним возвращаться. Сигарета, которую системный администратор мне заботливо зажигает, отвратительная именно настолько, насколько я ожидал.

— Спасибо. — Я выпускаю дым и смотрю, как он медленно растворяется в холодном воздухе. — Ну — как ты?

Он держит сигарету большим и указательным пальцами, делает затяжку.

— Да так как-то... Понемногу.

Мне хочется дать ему в нос за подобную информативность и за то, как он выдыхает дым мне в лицо.

Как жаль, что я слишком хорошо для этого воспитан.

— Ты плохо выглядишь, — говорит он.

Действительно жаль.

— Grand merci.

— Да ладно. Случилось что-то?

Я пересказываю ему историю с презентацией, пока докуриваю первую сигарету. Он сочувственно кивает и даже хлопает меня по плечу, когда я снова тянусь к пачке «Уинстона».

— Бывает. Прорвемся, а?

— Прорвемся, — соглашаюсь я.

Вообще-то мне не хочется никуда прорываться. Больше всего на свете я мечтаю оказаться дома, лечь на диван, не раздеваясь, и слушать Джонни Холлидея.

Системный администратор улыбается мне и даже не подозревает об этом. Я ничего ему не говорю. Он дал мне сигарету, и мне не хочется его расстраивать.

— Как Анна? — говорю я вместо этого.

Анна работает в юридическом отделе и встречается с системным администратором по меньшей мере два года. Эти отношения всегда казались мне странными. Глядя на нее в постели, я бы непременно вспоминал институт Сорокина, что едва ли способствует возбуждению.

— Отлично, все просто отлично.

Он снова кладет руку мне на плечо и смотрит прямо в глаза. У него лихорадка на верхней губе.

— Знаешь, мы пожениться решили. В июне, но тебя не зову, гостей совсем мало будет.

Он говорит быстро и тихо, будто бы извиняясь. Я не то чтобы оскорблен, но отчего-то чувствую себя еще хуже прежнего.

— Поздравляю, — говорю я вслух. — Это великолепно — свадьба.

Он пожимает плечами, тушит окурок ботинком, и я отчего-то вспоминаю, что раньше мы ходили на двойные свидания: он и Анна, я и ты. Он тогда носил идиотскую шляпу без полей, а я еще помнил, как его зовут. Кажется, мы все вместе ездили за город на твоей машине, а потом слишком много пили. Ты курила супертонкие сигареты и поворачивала руль одной рукой. Ты ему не понравилась.

— Тебе плохо, что ли? — спрашивает системный администратор. — Бледный какой-то.

Я возвращаюсь к его бородатой роже и слякоти на ступеньках института. Догоревшая сигарета жжет мои пальцы.

— Да, — говорю я. — Мне плохо — от твоих сигарет, наверное.

Когда я возвращаюсь наверх, мой отдел уже сидит на местах, и в офисе становится еще шумнее. Я снова включаю компьютер и ввожу твое имя в поисковой строке. От мысли о том, что мы с тобой тоже могли бы жениться в июне, меня в самом деле начинает тошнить.

Если я буду продолжать фантазировать в таком же ключе, то действительно повешусь на дверной ручке.

Слякоть с моих ботинок натекает на и без того грязный линолеум.

Поисковая машина выдает мне сотню твоих фотографий, и я сортирую их по дате. Последние две мне незнакомы, и я приближаю их, рассматривая твою новую стрижку. Ты почти не изменилась с нашей последней встречи и улыбаешься, не глядя в камеру. Твоя

карьера идет в гору, раз твои фотографии теперь публикуют на новостных порталах.

Я перехожу по ссылке и говорю старшему менеджеру отдела, что перешлю ему материалы по фокус-группе сейчас же.

По правде говоря, я понятия не имею, о каких материалах он говорит. Я слишком занят тобой, чтобы думать.

Страница загружается, и на экране появляется другая фотография. Ты причесана так же, и на тебе тот же укороченный плащ с поднятым воротником. Ты держишь за руку парня, лицо которого кажется мне знакомым. Твое имя в заголовке статьи идет после его имени.

Я откидываюсь на спинку стула, уставившись в экран. Такое ощущение, что кто-то ударил меня кулаком в живот. Я вспоминаю, что видел этого парня в военной драме, получившей первый приз на каком-то дурацком фестивале. Он еще снимается в фантастических фильмах, от которых дети сейчас с ума сходят, и зарабатывает кучу денег. Ты заглядываешь ему в лицо и улыбаешься, как будто выиграла миллион долларов.

Я смотрю на ваши фотографии и пытаюсь восстановить дыхание.

Если уж на то пошло, то из вас двоих сорвал банк именно он.

Ты держишь два бумажных стакана с кофе, пока он открывает припаркованный автомобиль.

В моей машине ты всегда ездить отказывалась, потому что я вожу на слишком маленькой скорости.

У него рыжая щетина и огромные волосатые руки боксера.

Ты одного роста с ним и не можешь оторвать от него взгляд.

Я чувствую, как по спине течет пот, хотя вентилятор на этаже по-прежнему работает.

Он целует твою макушку прежде, чем сесть в машину.

Ты захопываешь дверь машины, закрываясь от меня и от всего мира со своим комедиантом. Вы оба выглядите довольными.

Я запрокидываю голову, смотрю на вентилятор на потолке и мечтаю, чтобы он свалился мне на голову.

Кто-то за моей спиной говорит кому-то другому, что в принтере нужно заменить картридж.

Если мне чего-то и нужно, то это выпить.

Я закрываю глаза и представляю, что я умер. Представить это сложно, когда рядом с тобой переговариваются и мешают в кружке растворимый кофе.

Еще мне нужно сбежать отсюда как можно скорее. Смотреть на тебя с ним здесь, среди болтливых идиотов, сидя в офисе, который я ненавижу, невыносимо и мучительно.

Я наблюдаю за лопастями вентилятора и думаю о своем жизненном выборе. Пытаюсь понять, когда все пошло не так.

Ты по-прежнему улыбаешься с экрана — ему, а не мне. Я почти физически ощущаю, как его волосатые руки сжимают мое горло.

Это ведь я виноват в том, что попал сюда. Нашел где-то вакансию, отправил резюме и даже прошел собеседование. Женщина-зиккурат спросила, почему я хочу работать именно в институте Со-рокина. Я сказал, что из-за великолепных перспектив.

Вот и они.

Вкладка с презентацией по иностранным агентам все еще открыта, и от мысли о том, что на все это — утренние совещания, больничные, Гусько и доклады — я обрек себя сам, в желудке у меня что-то переворачивается, как при похмелье.

Твой статист заносчиво смотрит в объектив, трогаясь с места. Ты смотришь на него, продолжая разговаривать, и наверняка давно прекратила думать обо мне.

Я мог бы быть на его месте — сидеть за рулем в солнечных очках, второй рукой сжимая твои пальцы. Все могло бы быть по-другому, если бы в то дурацкое, жаркое лето, я бы не решил вернуться сюда и найти работу. Ты была не против, чтобы я и дальше жил за твой счет, писал песни и смотрел, как ты строишь карьеру. Когда я стал целыми днями пропадать в офисе и уделять тебе меньше времени, тебе это понравилось уже меньше.

Вентилятор крутится и не хочет падать, проламывая мне череп.

Я спрашиваю себя, сколько места ты занимаешь в жизни актера. Не думаю, что много. Наверное, ты смогла бы это простить и мне, будь я звездой рок-н-ролла.

Парень, сидящий за компьютером напротив меня, спрашивает, не найдется ли у меня корректор.

— Нет, — говорю я. — Не найдется.

Кажется, его зовут Влад, и он работает здесь с июня. Мне хочется спросить, мечтал ли он оказаться в институте Сорокина или просто тоже когда-то сделал неправильный выбор.

Вместо этого я закрываю презентацию и вкладку с твоими фотографиями. Выключаю компьютер и встаю с места.

— Ты куда? — спрашивает Влад.

— Отсюда, — говорю я. — Счастливо оставаться.

На улице все так же холодно, но я не останавливаюсь, чтобы застегнуть пальто. Снова собирается дождь, и я достаю телефон и заказываю еще один «Убер». Выбирая машину, я думаю о Gibson Les Paul Studio и увольнении из института, а еще о том, что у меня до сих пор есть твой номер.



А л е н а   Б а б а н с к а я

Т Р Е Т И Й

• • •

А ты не при деле, не при понтах,  
Куда бы глаза ни глядели:  
Идет мариубыль на всех фронтах,  
Скудеют земные скудели.  
Летает зеленая стрекоза,  
Стрекочет в траве кузнечик.  
Но сколько бы ты ни хотел назад —  
Некуда, незачем, нечем.

• • •

В огороде мокнет кресло,  
Белые сложив крыла.  
Потому что в мире тесно,  
Жизнь скромна и тяжела.  
Ах, когда б не это тело,  
Оторвалось от земли,  
Встрепенулось, улетело  
В бурелом и кушири.  
Ведь душа не то, что с виду,  
А совсем наоборот.  
Я, пожалуй, тоже выйду  
Этим утром в огород.



• • •

Посмотришь на звездочки света в листве.  
Задремлешь, навряд ли проснешься к весне.  
Такая глубокая дрема,  
Что вовсе не выйдешь из дома.  
А будешь сновидеть как все наяву  
И солнце, и лес, и небес синеву,  
Подсолнухов желтые лица,  
В степном ковыле кобылицу.  
Варенье, при нем золотую осу.  
И осень, и зиму у всех на носу.  
Янтарные дыни на грядках,  
Их запах — тяжелый и сладкий.

• • •

Я говорю: паслен,  
И молочай, и кашка.  
А слышится: спасен  
Небольно и нестрашно.

Скажу, что гибнет сад  
И виноград мельчает,  
А вижу чудеса  
Под божьими очами.

Скажу: отнимет смерть  
Все то, что сердцу мило.  
Но льется листьев медь,  
И вымолвить нет силы.

• • •

Ракит зеленые плафоны  
Висят над гладью вод.  
Выходят дачники с платформы  
Уже который год.  
Как будто бы обряд свершают  
Неведомым богам  
Они и полют, и сажают,  
Назло любим врагам.  
Они кряхтят по-стариковски,  
Кляня свой быт простой,  
А с ними Пушкин, и Чайковский,  
И Чехов, и Толстой.

• • •

Чапаев скачет в пустоте  
И шашкой машет.  
И там, и там гора из тел  
Чужих и наших.  
Сжигает села и мосты,  
Ведь он — Чапаев.  
Но пустота от пустоты  
Не отступает.  
Чапаев мчится во весь дух  
Судьбину встретить.  
Но выживет один из двух.  
И это третий.



Антон Бахарев

КРОССОВКИ

**АЗБУКА МОРОЗА**

...и отбивают зубы на морозе  
морзянку Богу. Как об этом в прозе?! —  
Сплошные точки, истое пюре.  
Противовес цветаевским тире —  
А всё ж стихи. Хотя и рифмы козы.

И если говорят, что зуб на зуб  
Не попадает — уголками губ  
Пытаешься сказать, что попадает!  
Когда настолько все не совпадает,  
То поневоле делаешься груб —

И глуп. В глупцах не зацветает проза.  
Нам остается азбука мороза:  
Немноготочье, выбитое в ночь.  
Волна — из точек. То есть свет точь-в-точь,  
Но только звук... Как ночь многоголоса!

• • •

вещевой рынок осенью был настоящим адом  
с рядами вместо кругов  
пройдя которые ты получал заветное  
за все свои деньги

промозгло грязно и людно  
как три причины крестного знамения

а четвертым были продолговатые пирожки  
с сублимированным картофельным пюре

они входили точно в рот  
то есть маркетингово были гениальны  
к тому же горячи и недороги  
к тому же без непонятного мяса

но эта картошка всасывала слюну как жизнь  
и однажды встала таким бетоном в горле  
что я перестал дышать и даже подумал о смерти  
глядя на этот маленький мир

но я выдавил ее обратно  
мы шли покупать мне кроссовки  
с мамой которая наконец-то  
накопила денег на кроссовки

мы прошли все ряды ада  
и вот наконец я их увидел  
они сразу стали моей мечтой  
кроссовки pro shot с баскетбольным шариком на цепочке

и мечта сразу же осуществилась  
ведь это был вещевой рынок  
а то что не хватило на спортивный костюм  
сделало кроссовки еще более существенными

в них я ходил с удовольствием на физкультуру  
даже на тупорылый волейбол  
даже на секцию баскетбола  
вообще преуспел в социализации

кроссовки я мыл как будто мыл ноги  
спичечкой прочищал каждое отверстие  
знал десять способов завязывания шнурков  
что еще сказать они до сих пор не развалились

конечно я давно о них забыл  
но вот сегодня вспомнил  
потому что если совсем кратко  
то Мишу Куимова не напечатали в Знамени

он рассказал мне и заодно прислал  
подборку дебютанта которого напечатали  
а я сказал что могу такой же чепухи  
написать целую книгу и все рыдать будут

а потом думаю не буду голословным  
и вот добрался до ноутбука  
и пишу без рифмы и без ритма  
хотя кажется ритм все-таки пробивается

пишу экспромтом первое что приходит  
а тему задал конечно дебютант Знамени  
там тоже было про вещевой рынок  
и про лишения с приобретениями

и я не думаю что это плохо  
его аморфная писанина  
никто не знает что хорошо а что плохо  
иначе все бы писали плохо

я только думаю что бесполезный брелочек  
в виде баскетбольного мячика на моих кроссовках  
был как бы самой настоящей поэзией  
отличая ее от прочего

без этого мячика шли бы они на хер  
серые и невзрачные как осенний вещевой рынок  
одинаковые как торговцы и покупатели  
еще терпеть из-за них смерть через картофель

• • •

Экскаватор роет канаву: р-р-р, р-р-р.

Самосвал выгружает трубы: щих-дзын, щих-дзын.

Идет дождь: с-с-с.

Первые заморозки: цок-цак, цок-цак.

Дети играют в войнушку: та-та-та, та-та, та-та-та-та.

Закручиваются метели: ш-ш-ш-ш.

Ветер приносит пение весенних птиц: фиу-у-у, чиу-чиу.

Сварщик варит трубы: тук-тук, ср-р-р, ср-р-р.

Бульдозер выравнивает площадку: ж-ж-ж, ж-ж-ж.

Далекий копер забивает сваи: тыдыщ-тыдыщ, тыдыщ-тыдыщ.

Самолетик в синем небе.

Малыши в песочнице: Ванюша, не забирай у Тани лопатку.

Гули у лавочки: ыгн-гн, ыгн-гн.

Скорая помощь на дороге: виу-виу-виу.

Внезапная сентябрьская гроза: вс-с-с, трш-ш-ш.

Листопад на грани слышимости: ш, ц, к.

Прорыв водопровода: пль-пль-пль, пль-пль-пль.

Трактор роет яму: ув-в-в, ув-в-в.

Рабочие меняют трубу: ..тваюмать, ..тваюмать.

Падает снег.

• • •

Сизифов перевал, рандомные поляны.  
Мой серверный Урал. Урал мой биполярный.

Июльские снежки, январских вод паренье,  
И пиксели мошки, звенящие сквозь время.

Которого стрела, качая облаками,  
Ступенями сверла раскалывает камни.

Когда идешь по ним и ничего не вешишь,  
Становишься одним с оставившими месседж

В зарубках на стволе, в пирамидальных турах,  
Пропавшими во мгле, застрявшими в текстурах.

Здесь убраны под кат слова на полуслове,  
Как лодки в пережат с собакой в изголовье.

И свист дозвуковой вшивается в повестку,  
Когда над головой раскручиваешь леску.

Но если бьются в грудь мою тайменьи пасти,  
Кто чувствуется вдруг на том начале снасти?

Вращающий башкой, как в драгоценном сейфе,  
Сжираемый мошкой и делающий селфи.



Д а н и э л а    Р и ц ц и

« РУССКИЙ ПЕРИОД »  
АРДЕНГО СОФФИЧИ

Арденго Соффичи (1879–1964) — художник и писатель, одна из ключевых фигур искусства авангарда и футуризма. Через некоторые значимые эпизоды биографии Соффичи можно проследить прямую связь итальянского и русского авангарда в годы его зарождения. Фоном же для всех происходивших событий стал Париж — с первых лет XX века до начала Первой мировой войны.

Главный источник, на который мы опирались, — сочинения самого Соффичи и его пространственные мемуары «Жизненный прыжок» и «Конец целого света», работа над которыми была завершена в конце пятидесятых годов. Соффичи писал, что его воспоминания — «не строгая хроника событий, [...] а нечто вроде широкой фрески, принадлежащей к особому жанру, [...] поскольку изображенные предметы, т. е. составляющие ее фигуры, вовсе необязательно выстраиваются в ряд и стоят, как на торжественной церемонии, а подчиняются прихотливой игре света, теней, объемов, красок и фона, оживляющих всю картину». Художник действительно помещает своих героев на переднем или на заднем плане вне зависимости от реального масштаба их фигур — гораздо важнее, насколько свежи воспоминания и насколько сильные чувства пробуждают они у автора. Это касается и многочисленных русских персонажей, возникавших в парижские годы на горизонте у Соффичи и занимавших в его жизни важное место.

В биографии Арденго Соффичи французский период начинается 6 ноября 1900 г., когда художник впервые отправляется в Париж, и заканчивается накануне Первой мировой войны.

Несколько знаковых моментов, связанных с его пребыванием в Париже. В 1901–1902 гг. Соффичи работает в Париже в собственной мастерской, выставляется в Салоне независимых, начинает сотрудничать с рядом французских журналов, включая «Ля



Плюм» и «Ревю Бланш»<sup>1</sup>. В 1903 г. в Италии он знакомится с Папини<sup>2</sup> и сближается с кругами, близкими журналу «Леонардо». Его графика и литературные сочинения появляются и во французских журналах, и в «Леонардо». В 1906 г. Соффичи выставляется в Салоне независимых и в Осеннем салоне; он знакомит приехавшего к нему в Париж Папини с Пикассо и Максом Жакобом<sup>3</sup>. В 1908 г. Джузеппе Преццолини начинает выпускать журнал «Ла Воче», для которого Соффичи напишет много статей, в основном об искусстве и французской литературе. В Париже Соффичи вращается в кругах художников-авангардистов. В январе 1913 г. выходит первый номер «Лачербы», которую издавали Папини и помогавший ему Соффичи (именно он придумал название журнала и его шапку); на страницах «Лачербы» появится немало текстов и репродукций парижских друзей художника. Позднее «Лачерба» станет печатным органом футуристов. 1914 г., март-июнь: Соффичи в последний раз отправляется в Париж, в этот приезд он ближе сходитя с Аполлинером, с которым они уже были знакомы; в декабре Папини и Соффичи (позднее к ним присоединятся Карра<sup>4</sup> и Говони<sup>5</sup>) порывают со сторонниками Маринетти<sup>6</sup>, хотя и те, и другие продолжают называть себя футуристами. Как известно, движение футуризма сходит на нет к 1916 г. В Париж Соффичи вернется только в старости (1959 г.), и то ненадолго.

В эти годы Париж становится «школой» для многих русских художников, которые вливаются в тамошнее интернациональное художественное сообщество. Роль первопроходцев досталась кузенам (иногда они выдавали себя за родных брата и сестру), Сергею Ястребцову и Элен д'Эттинген (русской по культуре и языку

<sup>1</sup> «La Plume» (основан в 1889 г.), «La Revue blanche» (основан в 1889 г.) — одни из наиболее авторитетных художественных журналов своего времени (*прим. перев.*)

<sup>2</sup> Джованни Папини (1881–1956) — итальянский журналист, прозаик, поэт, литературный критик.

<sup>3</sup> Макс Жакоб (1876–1944) — французский писатель и художник.

<sup>4</sup> Карло Карра (1881–1966) — итальянский художник и график, представитель школ футуризма и метафизической живописи.

<sup>5</sup> Корrado Говони (1884–1965) — поэт, самые яркие страницы творчества которого связаны с футуризмом: «Электрические стихи» (1911), «Открытие весны» (1915), «Разреженность и слова на свободе» (1915).

<sup>6</sup> Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) — итальянский прозаик, поэт, основатель футуризма.

польской дворянке, которую называли просто «Баронесса»), они вместе странствовали по Европе и в 1903 г. обосновались в Париже. В 1910-е гг. их судьбы были тесно связаны с судьбой парижского авангарда. Сергей Ястребцов (1881–1958) учился в Академии Жюлиана<sup>7</sup>, выставлял свои работы в Салоне независимых; вначале подражал Кустодиеву, затем стал неплохим художником-кубистом. Также он писал об искусстве под разными псевдонимами (Жан Серюсс, Саша Руднев, Эдуард, а чаще всего — Серж Фера, и под этим именем он наиболее известен). Баронесса — блестящая, образованная женщина, была художником-любителем, писала стихотворения в прозе и романы, публикуя их под разными псевдонимами (Рош Грей, Эдуард Анжибу).

Вскоре после приезда в Париж Сергей Ястребцов и Элен д'Эттинген завязывают дружбу с Соффичи. Именно Соффичи знакомит их с Аполлинером, Максом Жакобом и Андре Сальмоном<sup>8</sup>. В скором времени салон Баронессы становится одним из центров художественной жизни, связанной с авангардом, особенно после того, как Серж Фера основывает журнал «Ле суаре де Пари»: руководит журналом Аполлинер, он будет выходить до 1914 г. и получит известность даже в России. В этом издании, которое стало трибуной художников и литераторов и где в основном публиковались статьи с иллюстрациями, где рассказывалось о новейших течениях в парижском искусстве, выходит серия стихотворений в прозе Баронессы, подписанных псевдонимом Рош Грей. Это лирические пейзажные зарисовки, впечатления и раздумья, написанные нередко в форме заметок о путешествиях по Франции и Италии.

В своих мемуарах Соффичи подробно рассказывает об отношениях с Элен д'Эттинген (выведенной под именем Ядвига) и Фера-Ястребцовым.

«Высокая, стройная, с прекрасным лицом, очень похожим на прерафаэлитовские лица некоторых женщин у Данте Габриеле Россетти, подчеркнутым тяжелой, пылающей копной рыжих волос», которая «идеально соответствовала эстетическим настроени-

<sup>7</sup> Частная академия художеств в Париже, основанная художником Родольфом Жюлианом в 1868 году (*прим. перев.*).

<sup>8</sup> Андре Сальмон (1881–1969) — поэт, сторонник кубизма, один из ближайших друзей Аполлинера.

ям той рёскинской, символистской, бёклинской эпохи». Соффичи познакомился с ней в Париже, однако он помнил, что встречал ее во Флоренции. Итальянский художник повествует об этой странной и загадочной личности, о ее живом и страстном характере, об обширных познаниях в области искусства и литературы; он очарован рассказами Баронессы о детстве и юности, прожитыми в богатстве, между Варшавой, Краковом, Петербургом и Москвой, что так отличалось от простой деревенской обстановки, в которой родился и рос Соффичи. Он признается, что своим образованием во многом обязан «почти родственной интеллектуальной и поэтической связи с этой необычной женщиной»; кстати, она познакомила его с русским языком и литературой, о которой в то время в Италии мало что знали. В 1903–1908 гг. они тайно переживают бурный роман, вылившийся позднее в интеллектуальную дружбу и добрые товарищеские отношения. Приезжая в Париж в 1911–1914 гг., Соффичи месяцами гостил у Баронессы и Ястребцова. «Больше, чем друзья, они мои брат и сестра», — напишет он в одной из автобиографических заметок.

Ястребцова и Соффичи связывала, по словам итальянского художника, «искренняя мужская дружба», а также тесное многолетнее профессиональное сотрудничество. В 1905 г. Ястребцов и Соффичи создают декор интерьера для салона Отеля Де Бэн в Ронченьо, неподалеку от Тренто. В последующие годы они вместе переводят Чехова — «Рассказы» и пьесу «Три сестры»<sup>9</sup>, что являлось доказательством живого интереса к русской литературе кругов, близких к Папини и Преццолини. Об интересе к русской литературе, который, естественно, поощряли и поддерживали русские друзья художника, свидетельствуют и две статьи, опубликованные на страницах журнала «Ла Воче» в 1912–1913 гг. и позднее вошедшие в сборник «Статуи и манекены».

Первая статья посвящена Достоевскому, в ней Соффичи обращается к высказываниям французского критика Суаре: внимание Соффичи привлекли слова о том, что Достоевский во многом стал предшественником философии Ницше, поскольку затронул в своем творчестве близкие темы. Вместе с тем, Соффичи пользуется

---

<sup>9</sup> Здесь и далее сохранено написание русских имен и названий, упоминающихся у Соффичи.

возможностью изложить собственное отношение к произведениям Достоевского; его размышления пронизаны дерзким, низвергающим любые авторитеты жизнелюбием, свойственным ему в эти годы и превратившимся впоследствии в отличительную черту его характера и убеждений; эта жизненная сила послужила почти универсальной мерой для определения эстетической ценности произведения. Из этого следовало, что хотя Достоевский и был великим писателем, он не сумел обрести утешение и избавление от терзаний, которые нравственно здоровый человек, по мнению Соффичи, находит в общении с природой; Ницше же в своей философии (но не в собственной жизни) обрел это утешение:

*«Жажда страдания, любовь к нищете, смирение, что разбитое сердце обретает в любви к творениям и к Богу, — вот христианские добродетели, к которым жадно стремится дух Достоевского в буре страстей; и все мы следовали за ним, за этим порывом — кто в большей, кто в меньшей степени. Но разве мы не чувствуем уже вокруг и внутри нас нечто, что отчаянно тянется к жизни, желание взбунтоваться против этих устаревших ценностей или преобразить их [...] в огромную сознательную радость? В трагическую, если угодно, но все же в победную радость?»*

*[...] Дело в том, что Достоевскому, углубившемуся в изучение человеческой души, не было дано узнать это волшебное средство, которое после сомнений, после горечи утраченной веры, после трагического завершения всяческих философий, дает силу пришедшим ему на смену поколениям, дарует им еще одну молодость — любовь к природе.*

*[...] Зато Ницше, хотя он и проистекает из него, глубоко чувствует природу. Нельзя ли сказать поэтому, что Ницше — вовсе не “невыносимый кабинетный и книжный червь”, Ницше, который как человек являлся идеальным воплощением героя Достоевского, одновременно дополняет Достоевского, заполняет пустоту, оставшуюся там, где в творчестве Достоевского было нечто преходящее и недолговечное?»*

Вызывает интерес и в наши дни, по прошествии времени, небольшая статья Соффичи о Чехове, послужившая предисловием к упомянутому изданию «Трех сестер»; кстати, это одна из первых

работ о Чехове, написанная по-итальянски. Любопытно не только мнение Соффичи, который дает самую высокую оценку «решительному обновлению, которое Чехов совершил в театральном искусстве, в построении общего замысла и в технике сочинения», но и его рассуждения о мастерстве Чехова — автора коротких рассказов. Сравнение Достоевского и Чехова позволяет Соффичи сделать выводы, выходящие за рамки литературы. Достоевский для него — автор хроники «катастроф, страшных и трагических поражений», Чехов — певец тихой трагичности, заключающейся в том, что человек замыкается в себе самом, в бесполезном порыве «души, ищущей правду и добро, и не находящей ни того, ни другого». При этом и Достоевский, и Чехов отражают «трагедию России», говорят от имени «русского духа, тайна которого сокрыта в словах: неудача, поражение». К подобным взглядам на русский народ, «который волею судеб я достаточно близко узнал и сильно любил», Соффичи вернется через много лет, когда война уже будет в разгаре — в статье, напечатанной на страницах «Лачербы», он говорит о «многоликой и неупорядоченной русской душе», о «несдержанном характере», который легко переходит от порыва к унынию, о склонности к «фатализму, пессимизму, мистицизму [...] а оттуда один шаг до алкоголизма, эпилепсии, садизма и даже человекоубийства». Русский, будучи «инстинктивным революционером», проявляет «неспособность организовать себя, чтобы достичь поставленной цели»: его губит «слишком широкое видение физических и метафизических проблем, уводящее за грань реальности в бездну пустоты».

Убежденность писателя в том, что Россию и Италию связывает особое духовное родство объясняет, почему в первые послереволюционные годы Соффичи с симпатией следил за событиями в Стране Советов<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> На страницах газеты «Вре Итали» (которую ее редакторы, Папини и Соффичи, определяли как «орган интеллектуальной связи между Италией и другими странами»; газета выходила в 1919–1920 гг. на французском языке дважды в месяц в издательстве Валлекки) говорилось об особой духовной созвучности между нашими народами, основанной на близости психологии и культуры. В этой связи авторы признавались, что «с огромной симпатией и братской надеждой» следят за Октябрьской революцией, которую они восприняли как титаническое усилие народа, стремящегося воплотить в

Наряду с серьезными и высокопарными рассуждениями о сути народного духа в той или иной стране, интерес Соффичи ко всему русскому выразился и в совсем другой, шутливой и ироничной форме — несколько неожиданной, хотя и отражающей жизнелюбивый характер художника.

В 1912 г. в журнале «Ла Воче» вышла статья Соффичи «Итальянское искусство и критика в одной иностранной книге». Речь шла о монографии «Современное искусство и критика в Италии», Издание Брунова, Москва 1912 г. Написал ее Василий Малышев — «один из лучших представителей молодой русской литературы, замечательный поэт, страстный и смелый полемист, руководивший с 1910 г. знаменитым ежемесячным журналом о современном культуре “Новые пути”, который проводил в России программу, близкую нашему “Ла Воче”, но у которого сил побольше». Сказано также, что книга Малышева появилась в серии, выходившей параллельно с журналом, ее задачей было «познакомить с самыми важными духовными, интеллектуальными и художественными проблемами нашей эпохи». По словам Соффичи, в этой серии вышли книги Кирилла Кириллова «Современная Германия и ее духовное декадентство», Якова Розенблюма «Молодая Испания» и Ильи Шершнева «Крайние пределы русской глупости в искусстве и литературе. От Репина до Бурлюка, от Боборыкина до Андреева».

Излагая взгляды этих авторов, Соффичи отталкивается от сочинения Шершнева — «серьезной, глубокой, живой и на редкость современной книги, автор которой без страха и ложного стыда обнажает во всем ее безобразии и пытается вылечить двойную русскую язву приверженности изжившей себя сентиментальной фотографичности, представленной Репиным, [...] и эстетическому болоту, в котором с каждым днем все глубже увязает большинство московской молодежи, привлеченной и сбитой с пути плохо переваренными теориями, позаимствованными на Западе».

Говоря о взглядах Шершнева, Соффичи доказывает, что неплохо ориентируется в модернистских течениях в русской литературе — ему знакомы такие имена, как Вячеслав Иванов, Бальмонт,

---

жизнь грандиозную идею и возродить народную душу. Соффичи неоднократно писал о том, что Италии также необходим подобный переворот, позднее ему будет казаться, что фашизм станет воплощением его мечты. На страницах «Вре Итали» часто упоминалось о знакомстве с Луначарским, занимавшим в те годы пост наркома просвещения.

Андрей Белый, Брюсов, Кузмин. С другой стороны, он полностью разделяет (причем с явным знанием дела) неуважение к новейшим течениям в русской живописи, прежде всего к футуризму: расплачивается за это, главным образом, Бурлюк, «странное сходство которого с Репиным» объясняется «грязной и грубой живописью» и «проявленной безнадежной прозаичностью души».

Со своей стороны, такой тонкий критик, как Малышев прекрасно разбирается в итальянской художественной культуре: пространственные цитаты из его книги, которые приводит Соффичи, убеждают нас в том, что перед нами настоящий знаток современного искусства Италии и не только, причем мыслящий столь оригинально, что он не боится низвергнуть признанных кумиров (Микеланджело он предпочитает Луку Синьорелли<sup>11</sup>, а Рафаэлю — Маттиа Прети<sup>12</sup>). Его вкусы и мера, которой он оценивает произведения искусства, говорят об антиконформизме и об отсутствии рабского преклонения перед прошлым; руководствуясь ими, он высказывает достаточно резкие суждения о современной итальянской живописи и художественной критике (например, решительно нападает на Уго Ойетти<sup>13</sup>, против которого в эти годы были направлены полемические стрелы Соффичи). Вместе с тем, Малышев дает самую высокую оценку художественным течениям, представленным на страницах журнала «Ла Воче», и признается, что является горячим поклонником «самого великого и современного скульптора нашего времени» — Медардо Россо, которого, по чистой случайности, так любил Соффичи.

Попытки отыскать Малышева, Кириллова и других ни к чему не приведут: все это мистификация — и книги, и авторы, и журнал. Придумали ее Соффичи и Ястребцов. Вот что рассказывает художник в своих воспоминаниях:

*«Мне пришло в голову [...] написать с помощью моего русского друга поддельный отчет о работе группы московских писателей*

---

<sup>11</sup> Лука Синьорелли (ок. 1445/1450–1523), итальянский художник эпохи раннего Возрождения умбрийской школы.

<sup>12</sup> Маттиа Прети (1613–1699) — итальянский художник неаполитанской школы, известный также как il Cavaliere Calabrese (калабрийский рыцарь или калабрийский всадник).

<sup>13</sup> Уго Ойетти (1871–1946) — итальянский художественный критик, писатель и журналист.

*и критиков, объединившихся вокруг [...] журнала, как две капли воды похожего на “Ла Воче” [...] Задумывая эту шутку, мы хотели продолжить под чужим обличьем полемику, которую я вел годами — она связана с положением дел в сфере искусства, сохранявшимся у нас в Италии, главным образом, по вине нашей официальной критики [...] я воспользовался маской, чтобы вложить в уста русского то, о чем я писал в “Ла Воче”, и то, что я думал о них, ведь русский мог выразить это в куда более резкой форме. С радостью дописав статью, я отправил ее Преццолини, не посвящая его в свой замысел, и Преццолини, ослепленный всем этим русским, как и следовало ожидать, не колеблясь напечатал ее. Когда я все ему рассказал, он немного обиделся, этим все и обошлось».*

Но вернемся в Париж. На встречах в доме Баронессы присутствовали многие русские художники, жившие в Париже или бывшие там проездом. Соффичи упоминает Архипенко, Цадкина, Ларионова и Гончарову, Жеребцову, Пуни; о некоторых из них (Архипенко, Ларионов, Жеребцова), как и о Пикассо рассказывала «Лачерба», в журнале писали и о других литераторах и критиках — приятелях Соффичи: прежде всего, об Аполлинере, о Максе Жакобе, Реми де Гурмоне и Рош Грей (Баронессе д’Эттинген)<sup>14</sup>.

В своих воспоминаниях Соффичи не сообщает о них ничего существенного: например, он пишет, что Гончарова была «очень молодой одаренной женщиной, некрасивой, но чрезвычайно милой, высокой, одетой неряшливо, вялой, молчаливой, загадочной, совершенно русской»; о Ларионове он говорит, что тот был «художником, близким футуристам, похожим на здорового мальчишку [...] тоже весьма одаренным, мы все вместе разговаривали о

---

<sup>14</sup> Некоторые из прозаических сочинений Баронессы, опубликованные в «Суаре де Пари», в 1913 г. были перепечатаны в «Лачербе» («Другой случай»; «Романсы» и «Элегия»). Рош Грей стала единственной из парижских друзей Соффичи, допущенных на страницы «Ла Воче» в 1912 г. она напечатала пространный прозаический отрывок футуристического толка с описанием Венеции, противоречащим всем канонам: «[...] Насколько бы стала драгоценнее площадь Сан-Марко, если бы отправили в эмиграцию или просто съели всех этих ставших классикой голубей — старую грязь, сентиментальный фон для фотографий шлюх со всего света — и всех прочих... [...] Хватит! Хватит! Луна — словно лысая голова, освещенная светом фонаря: лагуна, чумное болото. Вдыхаешь по твердой почве, где не нужно никаких гондол, чтоб отправиться, куда глаза глядят, как можно дальше».



русском, итальянском, французском искусстве и литературе, и эти беседы были на редкость интересными и приятными».

Особое место в воспоминаниях Соффичи занимают две художницы — Анна Жеребцова и Александра Экстер.

Хотя Соффичи был знаком с выдающимися русскими мастерами, подробно он пишет только об Анне Жеребцовой (1885—после 1927), о судьбе которой почти ничего не известно. В сборнике статей под названием «Открытия и убийства» (1919), куда вошла статья о Жеребцовой, впервые появившаяся в 1912 г. на страницах «Ла Воче», имя русской художницы стоит в одном ряду с Курбе, Сезанном, Ренуаром, Анри Руссо и Джованни Фаттори.

Жеребцова приехала в Париж в начале века и с 1908 г. начала регулярно выставляться в Салоне независимых и в Осеннем салоне. Соффичи заблуждается в оценке ее творчества, когда пишет, что по масштабу «ее личность была настолько уникальной, что можно сравнить ее [...] с такой же исключительно уникальной личностью как Анри Руссо». Живопись Жеребцовой вызывала у Соффичи настоящий восторг, он говорит о ней как «о единственной, кто среди многочисленной толпы русских ничтожеств, слепо бросающихся за всем новым, не усвоив первейшие и основополагающие завоевания современной живописи, сумела вдохнуть новую жизнь гению своего народа». В чем же заключались ее «оригинальность и новаторство»? «Прежде всего, поражает, — признается Соффичи, — полное отсутствие у нее связи с какой-либо нашей традицией, экзотический и варварский дух ее работ [...] рисунок, цвет, композиция, общая музыка картины и ее техника рождены и воплощены совершенно ни на кого не похожим вдохновением. [...] [Перед нами] фантастическое, мистическое письмо; иероглифы, одновременно полные боли и насмешки», от которых веет «беспокойством и тревогой из глубины крипт, из древних византийских часовен». Соффичи слышится в них «отзвук таинственной восточной красоты». Особенным кажется ему и соединение «кошмарных видений, марионеточной механизации действительности, оргии цвета и линий» с «подлинной лиричностью живописи», бросающейся в глаза, прежде всего, на полотне «Карта Италии» — «обширном лирическом описании нашей страны». И так далее. Заметим мимоходом, что в те же годы о Жеребцовой весьма резко высказывался Анатолий Луначарский, решительно не одобрявший ее «прими-

тивного» заигрывания с иконописью, с одной стороны, и с традицией русского народного искусства, с другой.

В своих воспоминаниях Соффичи описывает Жеребцову как молодую красивую женщину, погруженную в уныние, ко всему безразличную, плывущую по течению — по крайней мере, такой она была в то время, когда с ней был знаком Соффичи.

Александру Экстер — как известно, куда более крупную фигуру в искусстве, — связывали с Соффичи довольно близкие отношения, много значившие для обоих. Их познакомил Сергей Ястребцов — он и Экстер были родом из Киева и дружили с детства. Соффичи посвящает немало страниц своих мемуаров рассказу о теплых отношениях с Экстер, подробно описывает встречи с ней, начавшиеся в 1911 г. и закончившиеся летом 1914 г., когда оба уехали из Парижа и больше уже никогда не виделись. Однако о произведениях Экстер он пишет мало и не слишком лестно:

*«У нее был талант, но вкус ее еще не был уверенным; на нее повлияло французское искусство, которое называют авангардом; она была знакома с Леже и получила от него несколько советов, однако в ее манере видеть и неуверенной технике ощущалось влияние плохой эстетики и живописи ее страны. Я мягко указывал ей на это и, в свою очередь, давал советы, опираясь на собственный опыт. Она охотно их принимала, была мне благодарна, пользовалась ими и постепенно исправлялась».*

Слова, сказанные в этой короткой заметке, не слишком справедливы по отношению к таланту Экстер, который в те годы только начинал раскрываться во всей силе. Конечно, «советы» Соффичи, равно как и выставки итальянских футуристов в Париже и путешествие в Италию, которое Экстер совершила в 1912 г. и во время которого она познакомилась с самыми яркими представителями итальянского футуризма в литературе и живописи, оказали влияние на ее работы, созданные в 1912–1915 гг.: в них заметна попытка соединить заветы итальянского футуризма с кубистической структурой. В отдельных произведениях Экстер действительно заметно прямое влияние Соффичи, но остальные ее работы и то, какими путями двигалась эта художница по возвращении в Россию, исключительно оригинальны.

Вероятно, самая любопытная история, связывающая Соффичи с русской художественной интеллигенцией в Париже, произошла в 1914 г. Вот что рассказывает о ней в воспоминаниях сам художник:

*«Тем временем Аисса [Экстер] вернулась в Париж. Она [...] вновь заняла свою старую мастерскую на Рю Буассонад. Я тоже ходил туда работать большую часть дня. [...] Мы как два товарища были полностью погружены в работу, когда в мастерской вдруг возник необычный персонаж, только что приехавший из страны Аиссы, вооруженный рекомендациями их общих знакомых; в первое мгновение он показался нам, как говорят химики, чуждым элементом. Тощий, сутулый, лысоватый, ухоженная бородка и редкие светлые волосы, слащавый, выглядел он как знатный господин, но глаза у него были ледяные, в скривленном усмешкой рте и во всем его лице было нечто настолько неприятное, подозрительное и тревожное, что о нем хотелось сказать то же, что Казанова говорил о некоем графе Торриани — “с физиономией висельника, на которой ясно читались жестокость, вероломство, предательство, гордыня, бесчувствие, ненависть и ревность”. Он рассказывал, что был высоким чином царской армии, изобретателем взрывных устройств страшной силы для артиллерии, но в то же время любил искусство и писал о нем. Звали его “Актионов”.*

*Из-за неприятной внешности, некоторых его действий, предпринятых вскоре после приезда, и опасений, что перед нами шпион, мы с Аиссой стали звать его между собой Mauvaise-Актионов [скверный Аксенов], потом это прозвище сохранилось за ним среди наших друзей. А пока что, поскольку его визиты, слишком частые и не имеющие определенной цели, и его двусмысленные разговоры стали нам не только надоедать, но и вызывать опасения, мы начали вести себя с ним так, чтобы как можно быстрее от него окончательно избавиться, и в скором времени это нам удалось.*

*Потом мне рассказывали, что, вернувшись в Россию, этот Mauvaise-Актионов перевел и напечатал под своим именем мою книгу «Кубизм и футуризм». Не знаю, правда это или нет».*

В книге Соффичи «Кубизм и футуризм», о которой идет речь, под одной обложкой были напечатаны две статьи — «Пикассо и Брак» и «Кубизм и далее», появившиеся в «Лачербе» в 1913 г.

В них Соффичи, не скупясь на похвалы, знакомил итальянскую культуру с новым течением в живописи.

Mauvaise-Актионов был не кто иной, как Иван Александрович Аксенов<sup>15</sup> — поэт-футурист, член группы «Центрифуга», а его книга (Соффичи ее не называет, но легко понять, о чем идет речь) — небольшой труд по эстетике под названием «Пикассо и окрестности», опубликованный в Москве в 1917 г.

В своих оценках Соффичи несправедливо резок и в полной мере проявляет присущее ему ехидство. Почему — трудно сказать: возможно, даже спустя много лет при воспоминании о вторжении Аксенова в их нежную дружбу с Экстер давал себя знать его сангвинический темперамент. Нельзя исключить, что неприязнь Соффичи объясняется подозрением, что Аксенова и Макса Жакоба связывали не только платонические отношения, об этом он открыто пишет в другом отрывке из воспоминаний.

Тем не менее, чтобы оправдать обвинения в плагиате, прозвучавшие со страниц мемуаров Соффичи, помимо причин личного характера, следует учесть далекое эхо боевых настроений, которые порой выливались в открытое столкновение — что отличало итальянский футуризм. Широко известно, что на историю отношений между футуризмом и другими авангардными течениями, наложила отпечаток одержимость футуристов ролью первопроходцев; это касалось и связи между итальянскими и русскими футуристами. В апреле 1913 г. в «Лачербе» появилась статья Боччони «Футуристы и их плагиаторы во Франции». В 1914 г. Маринетти ездил в Россию, в этой связи прозвучала масса официальных и неофициальных заявлений о главенствующей роли итальянского футуризма, с одной стороны, и о независимости русского футуризма — с другой. Немного спустя, в 1916 г., между Ларионовым и Деперо произойдет малоприятный эпизод, после которого итальянский художник обвинит коллегу в плагиате.

---

<sup>15</sup> С 1915 г. Иван Александрович Аксенов (1884—1935) был видным представителем футуристической группы «Центрифуга», под знаменем которой он напечатал целый ряд произведений. Военный инженер, выпускник Кадетского корпуса, Аксенов рано почувствовал интерес к литературе и искусству. Поэт, художественный критик, переводчик, специалист по Шекспиру и елизаветинскому театру, он участвовал в Первой мировой и в Гражданской войнах, затем сотрудничал с различными учреждениями культуры и литературными объединениями.

Аксенов, вероятно, платил Соффичи той же монетой. Десять лет спустя после их встречи он вспомнил об итальянском художнике и весьма резко отозвался о нем в статье, посвященной Папини. Аксенов вообще не очень-то жаловал Папини и близкие ему круги, с которыми он, судя по всему, был хорошо знаком: рассуждая о том, в каком направлении развивались их взгляды, Аксенов подчеркивает, с какой легкостью они менялись. На одном из этапов этого противоречивого пути «в 1913 г. [Папини] вместе с другим прохвостом, Арденго Соффичи, основал декадентскую газету “Лачерба”, ставшую органом итальянских футуристов». В «Пикассо и окрестностях» также выпущено немало стрел против итальянских футуристов, среди которых можно узнать и Соффичи.

Но вернемся к истории с плагиатом. Серьезные обвинения, выдвинутые Соффичи, ставят два вопроса: действительно ли имел место плагиат и кто рассказал обо всем Соффичи?

Точно ответить на второй вопрос невозможно, потому что вариантов ответа несколько. Понятно, что тот, кто это сделал, хорошо знал содержание обеих книг. Значит, эта была либо сама Экстер (кстати, хотя Соффичи пишет, что Аксенов ей не нравился, именно Экстер принадлежит обложка «Пикассо и окрестности»), либо Луначарский (с ним Соффичи познакомился в Париже и поддерживал отношения по крайней мере до 1920 г.), который делал доклад о книге Аксенова. Не исключено, что это был Ястребцов, слушавший выступление Луначарского.

Кто бы это ни был, он ввел Соффичи в заблуждение.

Достаточно бегло просмотреть две книги, чтобы понять, что Аксенов не позаимствовал у Соффичи ни одной идеи, а уж о плагиате и говорить не приходится.

Конечно, Аксенов был знаком со статьями Соффичи, как и с книгой Аполлинера «Художники-кубисты» (скорее всего, он раздобыл в Париже брошюру Соффичи, вышедшую во Флоренции в начале 1914 г. — вернувшись весной в Париж, итальянский художник привез с собой несколько экземпляров брошюры; часть он отдал Пикассо, а остальные отнес на продажу в книжный магазин). Говорить о плагиате — подчеркнем это еще раз — совершенно неуместно, но при внимательном прочтении создается впечатление, что книги Соффичи и Аксенова типологически близки.

Сближает Соффичи и Аксенова то, что можно назвать функциональным параллелизмом: Аксенов так относится к русской линии мистического толкования творчества Пикассо (Бердяев, Булгаков), как Соффичи относится к сочинению Аполлинера, в котором было выдвинуто понятие «четвертого измерения» — метафизической категории, которую якобы открыл в своей живописи Пикассо. В статье Соффичи между строк прочитывалось критическое отношение к мнению его друга Аполлинера. Соффичи пытался вернуть дискуссию в рамки обсуждения вопросов техники и анализировать творчество Пикассо с точки зрения эстетики: он рассуждает о «крепости», «тяжести», «плотности» реальности, которая воспринимается как синтез чувств и мыслей, цвета и форм. Он выступал против восприятия кубизма как дверей, распахнутых в бесконечность и, таким образом, ведущих к божественному; Соффичи воспринимал живопись Пикассо как способ созерцать мир во всей его конечности, как попытку обнаружить принципы размера, ритма и предела.

Аксенов, вероятно, достаточно хорошо знал творчество Пикассо и его интерпретации еще до приезда в Париж, и, будучи знатоком современного искусства, он не мог не понимать, что в немногочисленных работах о кубизме, написанных русскими авторами, от Бурлюка до Бердяева, недоставало как раз разбора технической и формальной стороны. Эту задачу он и пытался решить, приступая к работе над книгой «Пикассо и окрестности», которую частично написал в Париже под влиянием новых впечатлений, хотя замысел книги мог родиться еще до приезда во Францию (в конце текста указана дата: «Июнь 1914 г.»)<sup>16</sup>.

Тем не менее, не принижая достоинств сочинения Соффичи, можно сказать, что книга Аксенова куда интереснее — и по оригинальности аргументации, и по изяществу стиля, и по широте культурного горизонта, и по тонкости интуиции. О работе Аксенова мало кто слышал, однако один из крупнейших специалистов по истории кубизма, Пьер Дэ, писал, что «это вообще первая книга, посвященная Пикассо, [...] и самое серьезное исследование, опубликованное в те годы».

---

<sup>16</sup> Если верить Сюзанне Мар, поэтессе-футуристу, жене Аксенова, книга была написана по время войны; но нельзя исключить, что история ее создания была куда длиннее, чем хотелось представить автору, и что Аксенов написал большую часть «Пикассо и окрестности» в 1914 г., а на фронте завершил работу над книгой.

Таким образом, Арденго Соффичи — фигура, типичная для той атмосферы культурного брожения, которая была характерна для Италии в период до Первой мировой войны. Соффичи довелось сыграть одну из ведущих ролей в постепенном процессе приобщения итальянской литературы и искусства той эпохи к более современным тенденциям европейской культуры — такую задачу ставили перед собой все три флорентийских журнала, с которыми сотрудничал Соффичи, и та часть итальянской интеллигенции, взгляды которой они отражали. И вне всякого сомнения, в парижские годы жизни русские друзья и знакомые Соффичи сыграли важнейшую роль в формировании его взглядов и художественного вкуса.

*Перевод с итальянского Анны ЯМПОЛЬСКОЙ*

